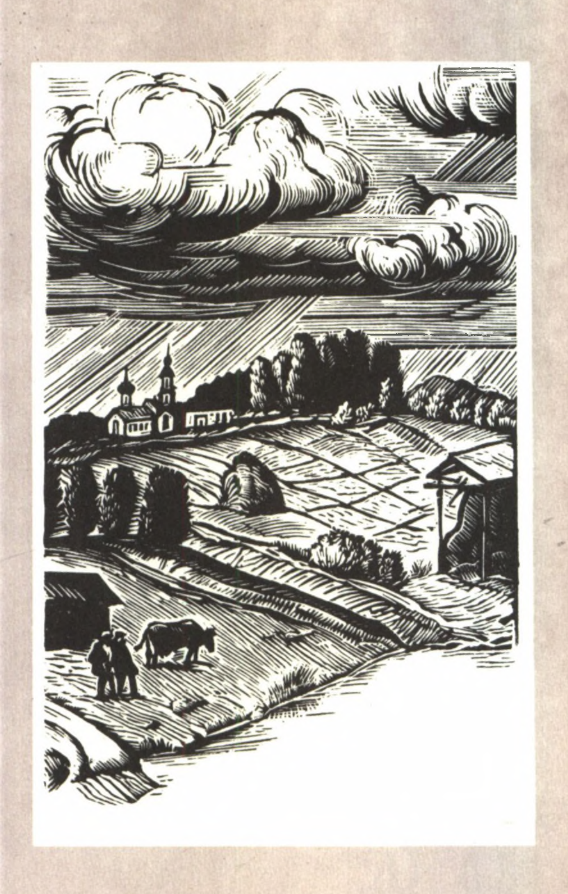


Василий
БЕЛОВ

БОБРИШНЫЙ УГОР

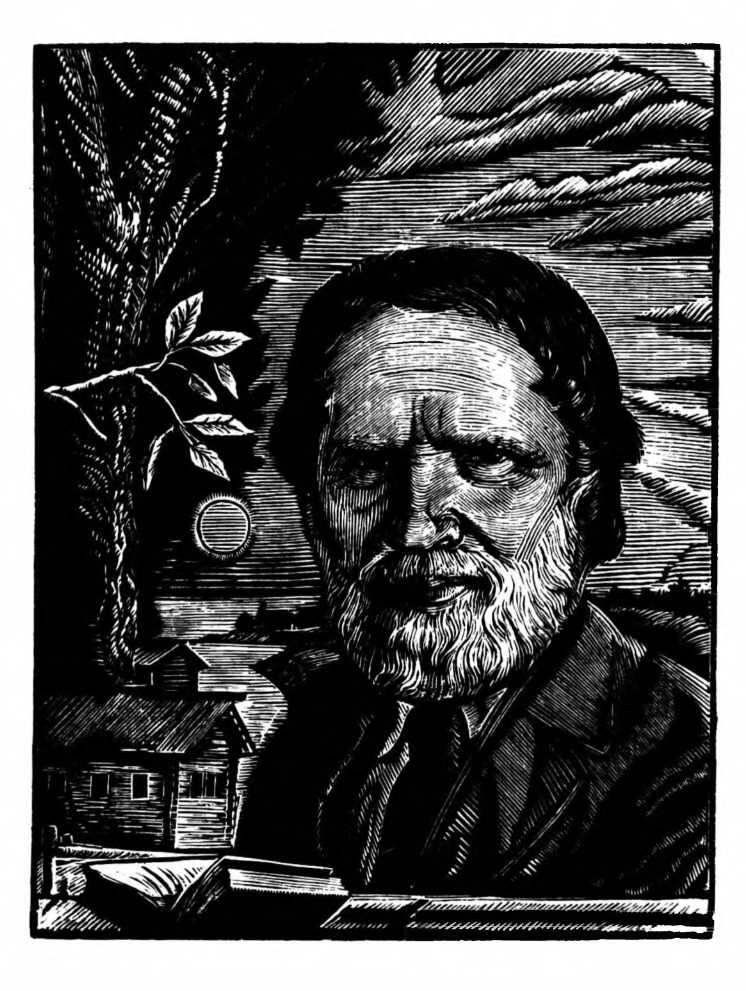
Д





Василий БЕЛОВ





Василий БЕЛОВ

БОБРИШНЫЙ УГОР



РАССКАЗЫ

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84.3Р7
Б43

ГРАВЮРЫ В. ЛУКАШОВА

Б $\frac{4803010102-395}{М101(03)-88}$ 160—88

ISBN 5—08—001058—4

ПУТЬ К ИСТОКУ

(СЛОВО О МОЕМ ДРУГЕ)



Летели самолетом в звонко-синем, малооблачном безбрежье, откуда видать сразу чуть ли не пол-России: едва отсверкал золоченым шпилем Московский университет, как справа по борту празднично высветились обновленные маковки Ростова Великого, но тут же вскоре из левых иллюминаторов открылось Рыбинское море — все в белой ряби, должно быть, гневное в этот ветреный день, а то и опасное для разбредшихся по нему теплоходов и барж, похожих сверху на кожурки тыквенных семечек. А даль Заволжья, насколько хватало глаз, кипела, кучерявилась ярославскими и костромскими сосновыми гривами...

От Вологды мчались поездом уже среди матерых северных лесов, почти без просветов обступивших горизонт, и товарняки, мелькая за окном белотелыми торцами аккуратно уложенных бревен, обдавали наш встречный скипидаровым вихрем.

С поезда сошли в Харовске — маленьком городке, насквозь пропахшем сплавным кряжем, щепой и опилками, с поленницами березовых дров, выложенными чуть ли не выше самих домов, с тесовыми тротуарами и напевным окающим говорком не очень шумливых улиц. Синий, самодельно покрашенный автобус отвалил от привокзальной площадюшки, шустро прикончил недолгие километры

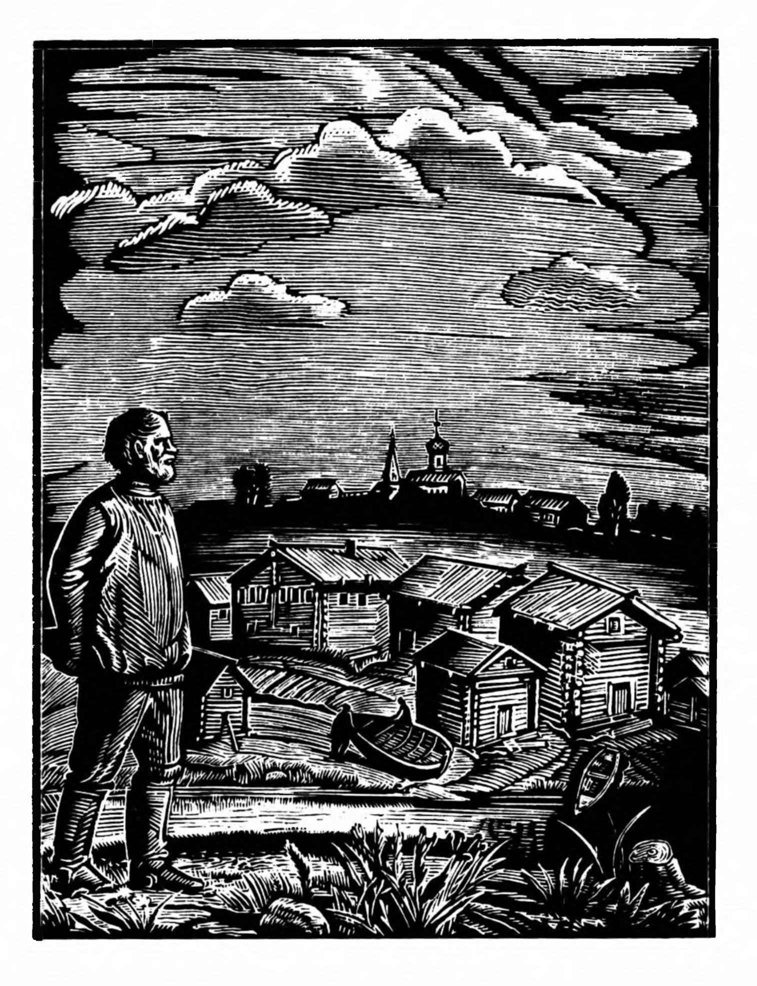
пригородного шоссе, недовольно урча, перебрался на ухабистый большак, и мы тряслись еще добрых полсотни километров до конечной остановки с таинственным названием Азла, что, как сказывают, осталось от некогда обитавших здесь угро-финских племен.

Дальше машина не шла, и мы потопали пешки под вершинный шум сосен, тиньканье синиц и плотницкий перестук дятлов — все глубже в неведомые мне земли, с волока на волок, мимо островерхих стожков, одиноких, не знаю кем накошенных, мимо ярко пылавших куртин кипрея у обочин, мимо все реже попадавшихся деревенек...

Я потому так подробно описываю это наше путешествие — самолет, автобус и, наконец, пешая тропа,— что оно напоминает мне путь вверх по реке, от устья до бьющего студеным ключом родничка. Недаром же слова «родник» и «родина» имеют общий корень, единый смысловой исток.

То было путешествие на родину моего друга Василия Белова, от которого пошла его любовь к Родине большой, путешествие к тому сокровенному, что однажды Твардовский назвал «основой основ поэтического видения мира».

Это видение мира у Василия Белова поразительно. Его книги способны вызвать ностальгию. В наш беспокойный, непоседливый век многие вологжане в разные годы и по разным обстоятельствам покинули свои исконные очаги и оказались кто на великих стройках Сибири, кто на степной целине, на Сахалине и Кубани... Но где бы они ни были теперь, как бы благополучно ни жили, каким почетом и славой ни были окружены за свои труды и заслуги,— прочитав Василия Белова, они закроют книжку с тихой грустью и благодарностью автору за почти осязаемую, зримую побывку в отчих краях, за приобщение к описываемым судьбам и событиям на земле вологодской, за колдовскую музыку слога, по-особому родственную им. И, смущаясь своей светлой растроганности, бережно обернув книгу газеткой, чтобы не маралась, понесет ее соседу: «Вот, почитай. Про наши места



написано... Будто дома побывал». И начнутся растревоженные воспоминания...

Впрочем, одних ли только земляков всколыхнут, взволнуют эти книги?!

Вот я, житель подстенья — земли открытых пространств, где и по сей день сохранились участки никогда не паханных ковылей, где иной говор и иные обычаи, больше тяготеющие к донской вольнице, где и поныне, в век тракторов, поют: «Вдарил шпорой под бока — конь летит стрелою»,— казалось бы, что позвало меня в ту северную даль, к не моим истокам и родникам? Все та же зачарованность беловским словом, породившая во мне чувство неодолимой любви и к его земле, и к людям, населяющим эту землю. Так слилась моя степная родина с его лесной, как слилась она с прекрасными отчими краями других моих многочисленных друзей от Карелии до Дальнего Востока в нашу общую Большую Россию. Правдивое и чистое слово художника не может принадлежать узкому землячеству, подобно деревенскому стоячему колодцу. Напротив, подлинное искусство как река, сначала родившаяся где-то из-под укромного бережка, подкрепленная единомышленным братством влившихся притоков, течет полноводно и открыто для всех, всяк имеет доступ испить из нее, и тщетны попытки иных хулителей замутить и осквернить прозрачную глубину потока.

Но вернемся к нашему путешествию.

Где-то на склоне лесной гривы Василий шагнул с дороги к обомшелым валунам в зарослях дикой малины и черемушника и поманил меня за собой.

Там, из-под камня, выбегал певуче поплескивавший жгут воды. Струя вымыла под собой воронку, унесла из нее все лишнее, отмыла глинистое ложе, обнажившиеся корешки черемухи. И эта чаша с водой, прозрачной, как самый дорогой хрусталь, непрерывно переполняясь, истекала через край ручейком, тревожившим и теребившим на своем пути травяную поросль.

— Последний волок,— сказал Василий, по-домашнему снимая

пиджак и роняя его на кудлатый малинник.— Осталось минуть вон те сосенки.

Он пошарил по траве, разыскал сухую дудку морковника, спрятанную им еще в прошлый наезд, протянул ее мне:

— Давай попьем. Я всегда останавливаюсь здесь.

Я опустил дудочку в переполненную воронку, комарино потянул: вода была тяжела от подкаменного холода и вливалась в меня, как ртуть, Василий довольно сощурился, заметив, как заслезились мои глаза от студеной крепости ключа. Потом пил через трубочку сам, рассыпав по лбу мягкие мальчишеские волосы, и когда оторвался, мы оба радостно рассмеялись. Развалясь на упругом брусничнике, мы блаженно курили, целясь дымками в комаров и слушая вершинный убаюкивающий шум сосен, пока где-то на дороге не застучали развалисто ступицы колес. Могучая гнедая кобылица, мохноногая, гривастая, будто в наброшенной на шею бахромчатой шали, с небрежным безразличием сильной лошади везла двуколку. Дощатый кузовок повозки был заставлен пусто погромыхивающими флягами. Молодая женщина, с темным, дубленым, но миловидным лицом под белой косынкой, восседала на широченной конской спине, свесив ноги в кирзовых сапогах на одну сторону и утвердив их на оглоблях.

— Хорошо ли с пустым пересекать нам дорогу?— крикнул мой друг, приподнимаясь на локтях.

— Василий Иванович!— изумленно встрепенулась женщина.— А я размечталась, не заметила. Ой, да с бородой, надо же!

— Борода — не честь, борода и у козы есть,— отшутился Василий.

— Дак пошто не сказался, не зашел на маслозавод, подвезла бы, порожняя еду.

— Не зима, сам добежал в охотку. Вот чемодан, если можно, подвези.

— Ну, как же, как же не подвезти.

Чемодан наш уехал с флягами, а мы, попив еще на дорожку, тро-

нулись следом. И была по пути мне рассказана судьба этой женщины, сызмальства вот так и в зной, и в слякоть колесившей с колхозным молоком. Лучшие молодые годы провела она без семьи, не познав радости материнства, потому только, что не было в войну за кого выйти замуж ни в своей, ни в соседних деревнях. Но не покинула колхоз.

Василий, рассказавши это, поумолк, стал задумчив и все поднимал на дороге сосновые шишки и пошвыривал ими в чащобу, изгоняя таким способом подступившую к сердцу боль за судьбу встреченного человека.

Потом не однажды я видел его счастливо-веселым, видел в бесхитростной деревенской пляске с простенькой гармоньей на груди, но был он всегда открыт для чужого горя, был беззащитно раним и даже, случалось, убегал от меня, прятался в укромных лесных стожках, чтобы наедине отсидеться и пережить неладное, случившееся с односельчанином.

И еще встречались люди по пути, все знакомые ему: ветхий пастух с батогом; тракторист, перегонявший куда-то обширные, как помост, связанные из целых стволов сани; колхозный бригадир в седле и женщина с бельем у речки,— и хотя многих он был тогда моложе вдвое, а то и втрое, величали его не иначе как по имени и отчеству. Это не было тем извечным угодливым подобострастием деревенского человека перед городским, полуграмотного — перед получившим институтское образование, а тем более перед званием писателя,— звания еще не все определяют. А это было то особое почтение, порожденное его книгами, той правдой в них, которую всегда ревниво и как-то болезненно-честно он оберегает перед своими земляками. Конечно же, они читали все, что написано Василием Беловым, иные, возможно, разбирали слова по складам, водя огрубелым пальцем по строчкам. Читали и дети, для которых он пишет столь же тепло и серьезно, как и для взрослых. Тем паче перед лицом такого внимательного и пристрастного читателя, ей-же-ей, трудно, невозможно, непростительно слукавить...

Вскоре открылась Васильева деревенька Тимониха. Разбежались вправо и влево леса, стало просторно и светло. Высокие теремные избы стояли на муравистом холме, у подножия которого увертывалась от лобастых валунов шустрая речушка с коричневой лесной водой. Тут же вскоре речка вливалась в задумчиво-тихое, окантованное лилиями озеро, отражавшее такое же тихое и задумчивое холстинковое небо. У воды, расставив лопушистые мохнатые ушки, похожие на пуховые рыжие рукавички, замер теленок. Должно быть, удивлялся себе подобному, глядевшему на него из ничем не замутненного озерного зеркала.

Что-то дрогнуло во мне счастливым узнаванием, но только спустя, постигая это свое первое впечатление, я догадался, что еще в далеком детстве видел такие картины в книжках с русскими сказками про курочку рябу, козу-дерезу, про то, как посеял дед репку. Видел и эти стожки с непременным шестком (по-ихнему — стожары) на макушке, и эти белокорые березовые изгороди (прясла), на которых тараторили вертлявые сороки, и закопченные баньки понизу.

Сказки сказками, но знал я и то, как трудно жилось здесь в суровую военную безотцовщину, где, в общем-то, кроме этой репки, нечем было поживиться. Разве что еще гороховые стручки с колхозного поля, добытые тайком, скрашивали несладкое детство тогдашних ребятишек, в том числе и Васи Белова, тоже потерявшего на войне отца.

В окне дома под вековой березой мелькнуло лицо, и вот уже на крылечко выбежала и прижалась к груди сына мать Анфиса Ивановна. Она выбежала босая, в простеньком платье, и лицо ее было удивительно просто — круглое, в девичьих конопушках, русые, такие же, как у сына, волосы мягко, будто платочек, округляли голову. Она минутно прослезилась, но тут же осветилась улыбкой и радостно запричитала те единственные для сына слова, которые всегда наготове к такому случаю у матерей наших.

Ну конечно, была истоплена баня, и стоял на большом скобленом, ничем не покрытом столе самовар, пеклись бесподобные рыбники, по-

давались пуговичной величины соленые рыжики, янтарное морошковое варенье, отдающее медом, а вперемежку с чаем баловались черникой с молоком, которую разлюбезная Анфиса Ивановна преподнесла нам в огромном деревянном лотке. Я дивился домашней деревенской утвари, всем этим берестяным коробам, ендовам, братинам и туесам, давно исчезнувшим из нашего среднерусского сельского обихода, Анфиса Ивановна поясняла, что к чему, и слушать эту умную и милую женщину было истинным наслаждением! Оказывается, она много читает и в общем-то довольно осведомлена обо всех наших писательских делах и даже критических перепалках.

Вскоре мне окончательно стало ясно, что Анфиса Ивановна не просто мать, старый человек в доме, столь необходимый для писательского быта, но ко всему этому и помощница в том высоком смысле, в каком мы представляем роль Арины Родионовны в жизни Пушкина. Неисчерпаемый кладезь познаний старины, северного быта, обычаев, празднеств, давних песен, почти никем уже не поющихся, пословиц, поговорок, веселых побасенок некрасовского Пошехонья и просто своих наблюдений и толкований текущей жизни — сколько полезного мог взять у нее Василий для своего творчества! Вспомним для примера искрящиеся здоровым юмором «Вологодские бухтины».

Но даже самому автору подчас трудно определить, от кого что пошло. Вот, скажем, жил через дорогу от Беловых дед Федор Евгеньевич (право, не знаю, жив ли еще теперь — уже тогда ему было что-то за семьдесят). Как-то слышим, вжикает пила: старик вышел попилить полешков про запас на долгую зиму. Завидев в окне Василия, дед приостанавливает работу, кличет: «Иди, паря, покурим». Выходим, все трое усаживаемся на бревнах, закуриваем. «Слыхал я, собираешься ремонтироваться.— Дед оценивающе глядит на Васильеву избу.— Дак и давай до холодов. И светелку тебе на чердаке выкроим. Оно, конешно, ежели перебирать...» И пошло, и пошло... Про венцы, про стропила, про шелевку, карнизы, наличники, водотоки, коньки, потом уже и про сами топоры пошла беседа, какой они бывают породы и предназначения... Не из этих ли вот порой препотешных, порой раз-

думчивых дедовских баек собрались те самые «Бухтины» и «Плотницкие рассказы»?

Всего не расскажешь, с кем мы в тот приезд говорили и что довелось повидать, во всем сопутствуя Василию. Скажу только, что я увез непоколебимое убеждение: все, что до сих пор написал Василий Белов, бережно сверено им с жизнью высокой мерой ответственности большого и честного художника.

Возвращались мы тем же порядком: пешая тропа сменилась проселком, проселок — автомобильным большаком, наконец железная дорога — путь в большой мир.

Летняя Вологда зелена, но не так многолюдна, как более южные города, Василий «угостил» меня видом родного города с высоты. Он раздобыл у хранителей древностей ключи от колокольни при Вологодской Софии, отомкнул тяжелый неподатливый замок (подниматься на саму колокольню тогда в общем-то не разрешалось, как говорят, по причине ветхости ее лестниц), и мы шагнули в полумрак кирпичного цоколя. Лестница действительно была не для туризма, но мы не отступились. Василий топал впереди меня. Наконец засветился выходной люк, и мы оказались на просторной площадке звонницы.

Высока сама по себе София, но даже и она со своими многочисленными золочеными крестами оказалась далеко под нами. И весь город предстал перед нашим взором как на ладони. В зеленых берегах, и сама от них зеленая, не текла, а полноводно покоилась река Вологда. На многочисленных дощатых мостках толпились женщины, и ярко и пестро мелькало в их руках мокрое, споласкиваемое белье. Время от времени стержнем проходили то баржа, то чумазый трудяга буксирчик, то вихрево проносились моторки, и тогда гладь реки взбухала валами, смешивавшими зелень опрокинутых берегов с янтарем заката.

На той стороне дородные старинные дома и современные постройки перемежались с церквушками, которые Василий перечислил мне по порядку: слева, на изгибе реки, виделся изящный силуэт Сретения, прямо против нас, рядом с Домом культуры, вставал суровый

в своей аскетической простоте храм Иоанна Златоуста, а справа, сразу же за многоарочным каменным мостом, высилось громадье собора Дмитрия Прилуцкого. И сам всемирно известный Прилуцкий монастырь виден был хорошо, но только поодаль, уже за городом, на вольном пойменном лужке. Мимо его стен мчались архангельские, котласские, сыктывкарские поезда, а над его сторожевыми башнями разворачивались и ложились на курс узкокрылые стрелы современных воздушных экспрессов. И леса, леса окрест, уже размытые дымкой вечереющего дня.

Я исподволь, с молчаливой благодарностью за увиденное взглянул на Василия. Зоркие, озерной чистоты глаза его таили пытливый, неустанно творящий взгляд художника современности.

ЕВГЕНИЙ НОСОВ



ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ



1

Дом стоит на земле больше ста лет, и время совсем его скособочило. Ночью, смакуя отрадное одиночество, я слушаю, как по древним бокам сосновой хоромины бьют полотнища влажного мартовского ветра. Соседний кот-полуночник таинственно ходит в темноте чердака, и я не знаю, чего ему там надо.

Дом будто тихо сопит от тяжелых котовых шагов. Изредка, вдоль по слоям, лопаются кремневые пересохшие матицы, скрипят усталые связи. Тяжко бухают сползающие с крыши снежные глыбы. И с каждой глыбой в напряженных от многотонной тяжести стропилах рождается облегчение от снежного бремени.

Я почти физически ощущаю это облегчение. Здесь, так же как снежные глыбы с ветхой кровли, сползают с души многослойные глыбы прошлого... Ходит и ходит по чердаку бессонный кот, по-сверчиному тикают ходики. Память тасует мою биографию, словно партнер по преферансу карточную колоду. Какая-то длинная получилась пулька... Длинная и путаная. Совсем не то что на листке по учету кадров. Там-то все намного проще...

За тридцать четыре прожитых года я писал свою биографию раз тридцать и оттого знаю ее назубок.

Помню, как нравилось ее писать первое время. Было приятно думать, что бумага, где описаны все твои жизненные этапы, кому-то просто необходима и будет вечно храниться в несгораемом сейфе.

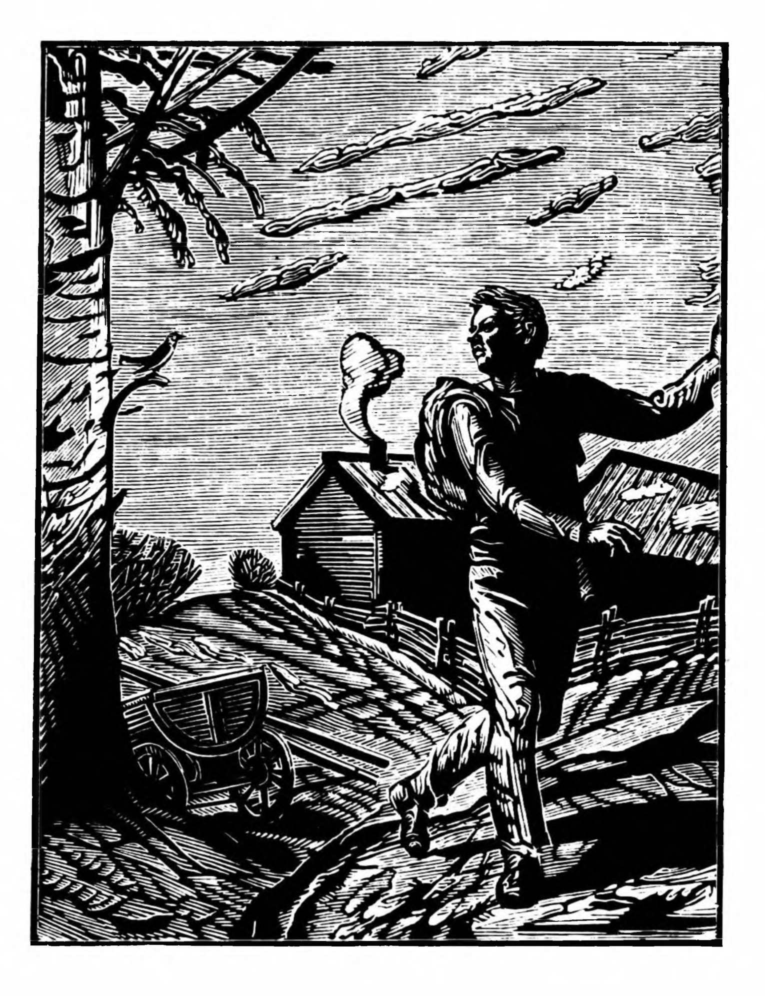
Мне было четырнадцать лет, когда я написал автобиографию впервые. Для поступления в техникум требовалось свидетельство о рождении. И вот я двинулся выправлять метрики. Дело было сразу после войны. Есть хотелось беспрерывно, даже во время сна, но все равно жизнь казалась хорошей и радостной. Еще более удивительной и радостной представлялась она в будущем.

С таким настроением я и топал семьдесят километров по майскому, начинающему просыхать проселку. На мне были почти новые, обсоюженные сапоги, брезентовые штаны, пиджачок и простреленная дробью кепка. В котомку мать положила три соломенных колоба и луковицу, а в кармане имелось десять рублей деньгами.

Я был счастлив и шел до райцентра весь день и всю ночь, мечтая о своем радостном будущем. Эту радость, как перец хорошую уху, приправляло ощущение воинственности: я мужественно сжимал в кармане складничок. В ту пору то и дело ходили слухи о лагерных беженцах. Опасность мерещилась за каждым поворотом проселка, и я сравнивал себя с Павликом Морозовым. Разложенный складничок был мокрым от пота ладони.

Однако за всю дорогу ни один беженец не вышел из леса, ни один не покусился на мои колоба. Я пришел в поселок часа в четыре утра, нашел милицию с загсом и уснул на крылечке.

В девять часов явилась непроницаемая заведующая



с бородавкой на жирной щеке. Набравшись мужества, я обратился к ней со своей просьбой. Было странно, что на мои слова она не обратила ни малейшего внимания. Даже не взглянула. Я стоял у барьера, замерев от почтения, тревоги и страха, считал черные волосинки на теткиной бородавке. Сердце как бы ушло в пятку...

Теперь, спустя много лет, я краснею от унижения, осознанного задним числом, вспоминаю, как тетка, опять же не глядя на меня, с презрением буркнула:

— Пиши автобиографию.

Бумаги она дала. И вот я впервые в жизни написал автобиографию:

«Я, Зорин Константин Платонович, родился в деревне Н...ха С...го района А...ской области в 1932 году. Отец — Зорин Платон Михайлович, 1905 года рождения, мать — Зорина Анна Ивановна с 1907 года рождения. До революции родители мои были крестьяне-середняки, занимались сельским хозяйством. После революции вступили в колхоз. Отец погиб на войне, мать — колхозница. Окончив четыре класса, я поступил в Н-скую семилетнюю школу. Окончил ее в 1946 году».

Дальше я не знал, что писать, тогда все мои жизненные события на этом исчерпывались. С жуткой тревогой подал бумаги за барьер. Заведующая долго не глядела на автобиографию. Потом как бы случайно взглянула и подала обратно:

— Ты что, не знаешь, как автобиографию пишут?

...Я переписывал автобиографию трижды, а она, почесав бородавку, ушла куда-то. Начался обед. После обеда она все же прочитала документы и строго спросила:

— А выписка из похозяйственной книги у тебя есть?

Сердце снова опустилось в пятку: выписки у меня не было...

И вот я иду обратно, иду семьдесят километров, чтобы взять в сельсовете эту выписку. Я одолел дорогу за сутки с небольшим и уже не боясь беженцев.

Дорогой ел пестики и нежный зеленый щавель. Не дойдя до дому километров семь, я потерял ощущение реальности, лег на большой придорожный камень и не помнил, сколько лежал на нем, набираясь новых сил, преодолевая какие-то нелепые видения.

Дома я с неделю возил навоз, потом опять отпросился у бригадира в райцентр.

Теперь заведующая взглянула на меня даже со злобой. Я стоял у барьера часа полтора, пока она не взяла бумаги. Потом долго и не спеша рылась в них и вдруг сказала, что надо запросить областной архив, так как записи о рождении в районных гражданских актах нет.

Я вновь напрасно огрел почти сто пятьдесят километров...

В третий раз, уже осенью, после сенокоса, я пришел в райцентр за один день: ноги окрепли, да и еда была получше — поспела первая картошка.

Заведующая, казалось, уже просто меня ненавидела.

— Я тебе выдать свидетельство не могу! — закричала она, словно глухому. — Никаких записей на тебя нет! Нет! Ясно тебе?

Я вышел в коридор, сел в углу у печки и... разревелся. Сидел на грязном полу у печки и плакал, — пла-

кал от своего бессилия, от обиды, от голода, от усталости, от одиночества и еще от чего-то.

Теперь, вспоминая тот год, я стыжусь тех полудетских слез, но они до сих пор кипят в горле. Обиды отрочества — словно зарубки на березах: заплывают от времени, но никогда не зарастают совсем.

Я слушаю ход часов и медленно успокаиваюсь. Все-таки хорошо, что поехал домой. Завтра буду ремонтировать баню... Насажу на топорище топор, и наплевать, что мне дали зимний отпуск.

2

Утром я хожу по дому и слушаю, как шумит ветер в громадных стропилах. Родной дом словно жалуется на старость и просит ремонта. Но я знаю, что ремонт был бы гибелью для дома: нельзя тормошить старые, задубелые кости. Все здесь срослось и скипелось в одно целое, лучше не трогать этих сроднившихся бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг другу.

В таких вовсе не редких случаях лучше строить новый дом бок о бок со старым, что и делали мои предки испокон веку. И никому не приходила в голову нелепая мысль до основания разломать старый дом, прежде чем начать рубить новый.

Когда-то дом был главой целого семейства построек.

Стояло поблизости большое с овином гумно, ядреный амбар, два односкатных сеновала, картофельный погреб, рассадник, баня и рубленый на студеном ключе колодец. Тот колодец давно зарыт, и вся остальная постройка давно уничтожена. У дома осталась одна-

разъединственная родственница — полувековая, насквозь прокопченная баня.

Я готов топить эту баню чуть ли не через день. Я дома, у себя на родине, и теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера. Такие ясные и всегда разные зори. Так спокойны и умиротворенно-задумчивы леса зимою и летом. И сейчас так странно, радостно быть обладателем старой бани и молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речке...

А когда-то я всей душой возненавидел все это. Поклялся не возвращаться сюда.

Второй раз я писал автобиографию, поступая в школу ФЗО учиться на плотника. Жизнь и толстая тетка из районного загса внесли свои коррективы в планы насчет техникума. Та же самая заведующая хоть и со злостью, но направила-таки меня на медицинскую комиссию, чтобы установить сомнительный факт и время моего рождения.

В районной поликлинике добродушный с красным носом доктор лишь спросил, в каком году я имел честь родиться. И выписал бумажку. Свидетельство о рождении я даже не видел: его забрали представители трудрезервов; и опять же без меня был выписан шестимесячный паспорт.

Тогда я ликовал: наконец-то навек распрощался с этими дымными банями. Почему же теперь мне так хорошо здесь, на родине, в безлюдной деревне? Почему я чуть ли не через день топлю свою баню?..

Странно, так все странно и неожиданно...

Однако баня до того стара, что одним углом на целую треть ушла в землю. Когда я топлю ее, то дым идет сперва не в деревянную трубу, а как бы из-под

земли, в щели от сгнившего нижнего ряда. Этот нижний ряд сгнил начисто, чуть прихватило гнилью и второй ряд, но весь остальной сруб непроницаем и крепок. Прокаленный банной жарой, тысячи раз наполнявшей его, сруб этот хранит в себе горечь десятилетий.

Я решил отремонтировать баню, заменить два нижних венца, сменить и перестлать полки, переклâсть каменку. Зимой затея эта выглядела нелепо, но я был счастлив и потому безрассуден. К тому же баня не дом. Ее можно вывесить, не разбирая крыши и сруба: плотницкая закваска, впитанная когда-то в школе ФЗО, забродила во мне. Ночью, лежа под овчинным одеялом, я представлял себе, как буду делать ремонт, и это казалось весьма простым и доступным. Но утром все обернулось по-другому. Стало ясно, что своими силами, без помощи хотя бы какого-нибудь старичка, с ремонтом не справиться. Ко всему, у меня даже не было приличного топора. Пораздумав, я пошел к соседу-старику, к Олеше Смолину, чтобы попросить помощи.

У смолинского дома на жердочке одиноко сушились простиранные кальсоны. Дорожка к открытым воротам была разметена, новые дровни, перевернутые набок, виднелись неподалеку. Я прошел по лесенке вверх, взялся за скобу, и в избе звонко залилась собачка. Она кинулась на меня весьма рьяно. Старуха, жена Олеши Настасья, выпроводила ее за двери:

— Иди, иди к водяному! Ишь, фулиганка, налетела на человека.

Я поздоровался и спросил:

— Дома сам-то?

— Здорово, батюшко.

Настасья, видать, была совсем глухая. Она обмахнула лавку передником, приглашая садиться.

— Старик-то, спрашиваю, дома или ушел куда? — снова спросил я.

— А куды ему, гнилому, идти: вон на печь утянулся. Говорит, что насмока в носу завелась.

— Сама ты насмока,— послышался голос Олеши.— Да и завелась не тепере.

После некоторой возни хозяин слез на пол, обул валенки.

— Самовар-то поставила? Не чует ни шиша. Констенкин Платонович, доброго здоровьица!

Олеша — сухожильный, не поймешь, какого возраста колхозник, сразу узнал меня. Старик похож был на средневекового пирата с рисунка из детской книжки. Горбатый его нос еще во времена моего детства пугал и всегда наводил на нас, ребятишек, панику. Может быть, поэтому, чувствуя свою вину, Олеша Смолин, когда мы начинали бегать по улице на своих двоих, очень охотно делал нам свистульки из тальника и частенько подкатывал на телеге. Теперь, глядя на этот нос, я чувствовал, как возвращаются многие давно забытые ощущения раннего детства...

Нос торчал у Смолина не прямо, а в правую сторону, без всякой симметрии разделял два синих, словно апрельская капель, глаза. Седая и черная щетина густо утыкала подбородок. Так и хотелось увидеть в Олешином ухе тяжелую серьгу, а на голове бандитскую шляпу либо платок, повязанный по-флибустьерски.

Сначала Смолин выспросил, когда я приехал, где живу и сколько годов. Потом поинтересовался, какая зарплата и сколько дают отпуск. Я сказал, что отпуск у меня двадцать четыре дня.

Мне было неясно, много это или мало с точки зрения Олеши Смолина, а Олеша хотел узнать то же са-

мое, только с моей точки зрения, и, чтобы переменить разговор, я намекнул старику насчет бани. Олеша ничуть не удивился, словно считал, что баню можно ремонтировать и зимой.

— Баня, говоришь? Баня, Констенкин Платонович, дело нудное. Вон и баба у меня. Глухая вся, как чурка, а баню любит. Готова каждый день париться.

Не допытываясь, какая связь между глухотой и пристрастием к бане, я предложил самые выгодные условия для работы. Но Смолин не торопился точить топоры. Сперва он вынудил меня сесть за стол, поскольку самовар уже булькал у шестка, словно разгулявшийся весенний тетерев.

— Двери! Двери беги закрой! — вдруг засуетился Олеша. — Да поплотней!

Не зная еще, в чем дело, я поневоле сделал движение к дверям.

— А то убежит, — одобрительно заключил Олеша.

— Кто?

— Да самовар-то...

Я слегка покраснел, приходилось привыкать к деревенскому юмору. Кипяток в самоваре, готовый хлынуть через край, то есть «убежать», тут же успокоился. Настасья сняла трубу и остановила тягу. А Олеша как бы случайно достал из-под лавки облегченную на одну треть чекушку. Делать было нечего: после краткого колебания я как-то забыл первый пункт своих отпускных правил, снял полушубок и повесил его у дверей на гвоздик. Мы выпили «в чаю», иными словами — горячий пунш, который с непривычки кидает человека в приятный пот, а после потихоньку поворачивает вселенную другой, удивительно доброй и перспективной стороной. Уже через полчаса Олеша не

очень сильно уговаривал меня не ходить, но я не слушал и, ощущая в ногах какой-то восторг, торопился в сельповскую лавку.

Везде белели первородно чистые снега. Топились в деревнях дневные печки, и золотые дымы не растворялись в воздухе, а жили как бы отдельно от него, исчезая потом бесследно. Рябые после вчерашнего снегопада леса виднелись ясно и близко, была везде густая светлая тишина.

Пока я ходил в лавку, Настасья убралась судачить к соседям, а Олеша принес в алюминиевом блюдечке крохотных, с голубым отливом соленых рыжиков. После обоюдного потчевания выпили снова, логика сразу стала другая, и я нырном, словно в летний омут после жаркого дня, незаметно ушел в бездну Олешиных разговоров.

3

— ...Ты, Констенкин Платонович, про мою жизнь лучше не спрашивай. Она у меня вся как расхожая Библия: каждому на свой лад. Кому для чего сгожусь, тот и дергает. Одному от Олеши то, другому это понадобилось. А третьему до первых двух и дела нет, обоих отменил. Установил свою атмосферу. Да. Ну, а Олеша чего? Да ничего. Олеша и сам... как пьяная баба: не знает, в какую сторону комлем лежит. Всю жизнь в своих полах путаюсь и выпутаться не могу. То ли полы длинны, то ли ноги кривы, уж и не знаю. А может, меня люди запутали?

Вот, по правде сказать, ведь не все время был такой запутанный. Помню, родила меня моя матка, а я первым делом от радости заверещал, с белым светом

здоровкаюсь, ей-богу, помню, как родился. Многим говаривал, только не верят, дурачки. А я помню. То есть ничего этого не помню, один теплый туман, дрема одна, а все ж таки помню. Будто из казематки вышел. Я это был или не я, уж не знаю, может, и не я, а другой кто. Только было мне до того занятно... ну, не то чтобы занятно, а так, это... благородно было.

Ну, родился-то я, значит, как Христос, в телячьем хлеву и как раз на самое рождество. Все дело у меня сперва шло хорошо, а потом и почал запутываться. Одно по-за одному...

Конечно, семья большая, бедная. Отец-мать нас, дристунов, не больно и нянчили. Зимой на печке сидим да таракашков за усы имаем. Иного и слопаешь. Ну, зато летом весь простор наш. Убежишь в траву, в крапиву... Оно дело ясное: мерло нашего брата много, счету не было. Только родилось-то еще больше, вот оно никто и не замечал, что мерли. Меня, бывало, бабка по голове стукнет либо там тычка даст в бок: «Хоть бы тебя, Олешка, скорее бог прибрал, чтобы тебе, дураку, потом зря не маяться!» Мне все старухи верную гибель сулили. Темя пощупают, да и говорят: «Нет, девушка, этот нет, не жилец». Есть, вишь, примета, что ежели у ребенка ложбина на темени, так этот умрет в малолетстве, жить не будет. А я им всем шиш показал. Взял да и выжил. Конечно, каяться не каялся после этого, а особого восторгу тоже во мне не было...

Помню, великим постом привели меня первый раз к попу. На исповедь. Я о ту пору уже в портчонках бегал. Ох, Платонович, эта религия! Она, друг мой, еще с того разу нервы мне начала портить. А сколько было других разов. Правда, поп у нас в приходе был хороший, красивый. Матка мне до этого объяснение сдела-

ла: «Ты,— говорит,— Олешка, слушай, что тебя будут спрашивать, слушай и говори: «Грешен, батюшка!» Я, значит, и предстал в своем детском виде перед попом. Он меня спрашивает: «А что, отрок, как зовут-то тебя;» — «Олешка»,— говорю. «Раб,— говорит,— божий, кто тебя так непристойно глаголеть выучил? Не Олешка, бесовского звука слово, а говори: наречен Алексеем».— «Наречен Алексеем».— «Теперь скажи, отрок Алексей, какие ты молитвы знаешь?» Я и ляпнул: «Сину да небесину!» — «Вижу,— поп говорит,— глуп ты, сын мой, яко лесной пень. Хорошо, коли по младости возраста». Я, конечно, молчу, только носом швыркаю. А он мне: «Скажи, чадо, грешил ты перед богом? Морковку в чужом огороде не дергал ли? Горошку не воровывал ли?» — «Нет, батюшка, не дергал».— «И каменьями в птичек небесных не палил?» — «Не палил, батюшка».

Что мне было говорить, ежели я и правда по воробьям не палил и в чужих загородах шастать у меня моды не было.

Ну, а батюшка взял меня за ухо, сдавил, как клещами, да и давай вывинчивать ухо-то. А сам ласково эдак, тихо приговаривает: «Не ври, чадо, перед господом богом, бо не простит господь неправды и тайности, не ври, не ври, не ври...» Я из церкви-то с ревом: ухо как в огне горит, да всего обиднее, что зря. А тут еще матка добавила, схватила ивовый прут, спустила с меня портки и давай стегать. Прямиком на морозе. Стегает да приговаривает: «Говорено было, говори: грешен! Говорено было, говори: грешен!»

Я эту деру и сейчас детально помню. Ну, хорошо. Ладно бы одна такая дера, я бы сидел, не крякал. Во второй раз пришел на исповедь, а меня и вдругорядь

тот же момент настиг. Одну правду попу говорил, а он хоть бы слову моему поверил. Да еще и отцу внушенье сделал, поп-то, а отец меня и взял в оборот. После этого я и думаю своим умом: «Господи! Что мне делать-то! Правду говорю — не верят, а ежели обманывать — греха боюсь». Вот опять надо скоро на исповедь. Опять мне дера налажена... Нет, думаю, в этот раз я вам не дамся. Вот что, думаю, сделаю, возьму да нарочно и нагрешу. Другого выхода нет. Взял я, Платонович, у отца с полавошника осьминку табаку, отсыпал в горсть, спички с печного кожуха упер, бумажки нашел. Раз — с Винькой Козонковым в ихний овин, да и давай учиться курить. Устроили практику... Запалили, голова кругом, тошнит, а курю... Белый свет ходуном идет. «Я,— это Винька говорит,— я уже давно курю, а ты?» — «Я,— говорю,— грешу. Мне греха надо побольше, а то опять попадет после исповеди». Из овина вылезли, меня по сторонам шатает, опьянел совсем. Первый раз в жизни опьянел. А на исповеди взял да и покаялся. Поп отцу не сказал ни словечка. Уж до того он довольный был, что меня воспитал...

С того разу я и начал грешить, стегать меня враз перестали. Жизнь другая пошла. Я, друг мой, так думаю. Мне хоть после этого и легче стало жить, а только с этого места и пошла в моей жизни всякая путанка. Ты-то как думаешь?..»

4

На второй день я просыпаюсь от яркого, бьющего прямо в глаза солнышка. Вылезаю из-под одеяла и удивляюсь: только легкий туман в голове да несильная жажда остались от вчерашнего.

Иду вниз и вместо зарядки раскалываю с полдюжины крепких еловых чурок. Они разваливались от двух ударов, если топор попадал прямо в середину. Морозные поленья звенели, как звенел за двором наст и ядреный свежий утренник. Было приятно влепить топор в середину чурки, вскинуть через плечо и, крякнув сильно, резко опустить обух на толстую пла́ху. Чурка от собственной тяжести покорно разваливалась, ее половинки разлетались в стороны с коротким звенящим стоном.

С десяток поленьев я принес в дом, открыл печную задвижку, вьюшки и заслонку. Нащепал лучины и на пирожной лопате сунул в чело печи первое, поперечное, полено. Зажег лучину и на лопате положил ее на полено. Склал на лучину поленья. Запах огня был чист и резок. Дым белым потоком, огибая кирпичное устье, пошел в трубу, и я долго смотрел на этот поток. В окна лилось зимнее, однако очень яркое солнце. Печь уже трещала. Я взял две бадьи и скользкий отшлифованный водонос, пошел за водой. Высоко натоптанная тропка звенела под валенками фарфоровым звоном. Снег на солнце был до того ярок и светел, что глаза непроизвольно щурились, а в тени от домов четко ощущалась глубинная снежная синева. Под горой на речке я долго колотил водоносом. За ночь прорубь затянуло прозрачным и, видимо, очень толстым стеклом; я сходил на соседнюю Олешину прорубь, взял там обледенелый топор и проделал канавку по окружности проруби. Прозрачный ледяной круг было жалко толкать под лед. Но течение уже утянуло его. Я слушал, как он уплывал, стукаясь, исчезая в речной темноте. А здесь, на дне проруби, виднелись ясные, крохотные, увеличенные водой песчинки.

Вихляющая тяжесть в ведрах делала устойчивее и тверже шаг в гору. Эта тяжесть прижимала меня к тропке. Чтобы погасить раскачивание ведер, я изредка менял длину шагов. Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца.

Дома налил воды в самовар, набрал в железный совок румяных, уже успевших нагореть углей и опустил их в нутро самовара. Самовар зашумел почти тотчас же. Когда я поставил его на столешницу, от него веяло знойным духом золы, вода домовито булькала в медном чреве. Пар бил из дырки султаной.

Я раскрыл банку консервированной говядины, банку сгущенки, заварил чай и нарезал хлеб. С минуту глядел на еду. Ощущая первобытную, какую-то ни от чего не зависящую основательность мяса и хлеба, налил стакан янтарно-бурого чая. У меня был тот аппетит, когда вкус еды ощущают даже десны и зубы. Насыщаясь, я все время чувствовал силу плечевых мышц, чувствовал потребность двигаться и делать что-то тяжелое. А солнце било в окно, в доме и на улице было удивительно спокойно и тихо, и этот покой оттенялся добрым, умиротворенно ворчливым шумом затухающего самовара.

Р-р-рых! Я ни с того ни с сего выскочил из-за стола, присел и, давая волю своей радости, прыгнул, стараясь хлопнуть ладонями по потолку. Засмеялся, потому что понял вдруг выражение «телячий восторг», прыгнул еще, и посуда зазвенела в шкафу. В таком виде и застал меня Олеша.

— Ну и обряжуха,— сказал старик,— печь, гляжу, истопил, за водой сбегал. Тебе жениться надо.

— Я бы не прочь, кабы не разводиться сперва.

— У тебя женка-то ничего.— Олеша взял со стола

Тонин портрет и почтительно поразглядывал.

— Ничего? — спросил я.

— Ничего. Востроглазая. Не загуляет там, в городе-то?

— Кто ее знает...

— Нынче живут прохладно, — сказал Олеша и завернул цигарку. — Может, оно и лучше эдак.

...Мы взяли топоры, лопату, ножовку. Не запирая дом, двинулись ремонтировать баню.

Пока я раскидывал снег вокруг сруба, Олеша разобрал каменку, опрятно сложил в предбаннике кирпичи и прокопченные валуны. Выкидали покосившиеся полки и разобрали прогнившие половицы. Я пнул валенком нижнее бревно, и в бане стало светло: гнилое совсем, оно вылетело наружу. Олеша простукивал обухом другие бревна. Начиная с третьего ряда, они были звонкие, значит, ядреные.

Старик полез наверх проверять крышу и потолок.

— Гляди не свались, — посоветовал я, но Олеша кряхтел, стучал обухом.

— Полечу, так ведь не вверх, а вниз. Невелика беда.

Теперь было ясно, что крышу и стропила можно не трогать. Мы присели на пороге, решив передохнуть. Олеша вдруг легонько толкнул меня в бок:

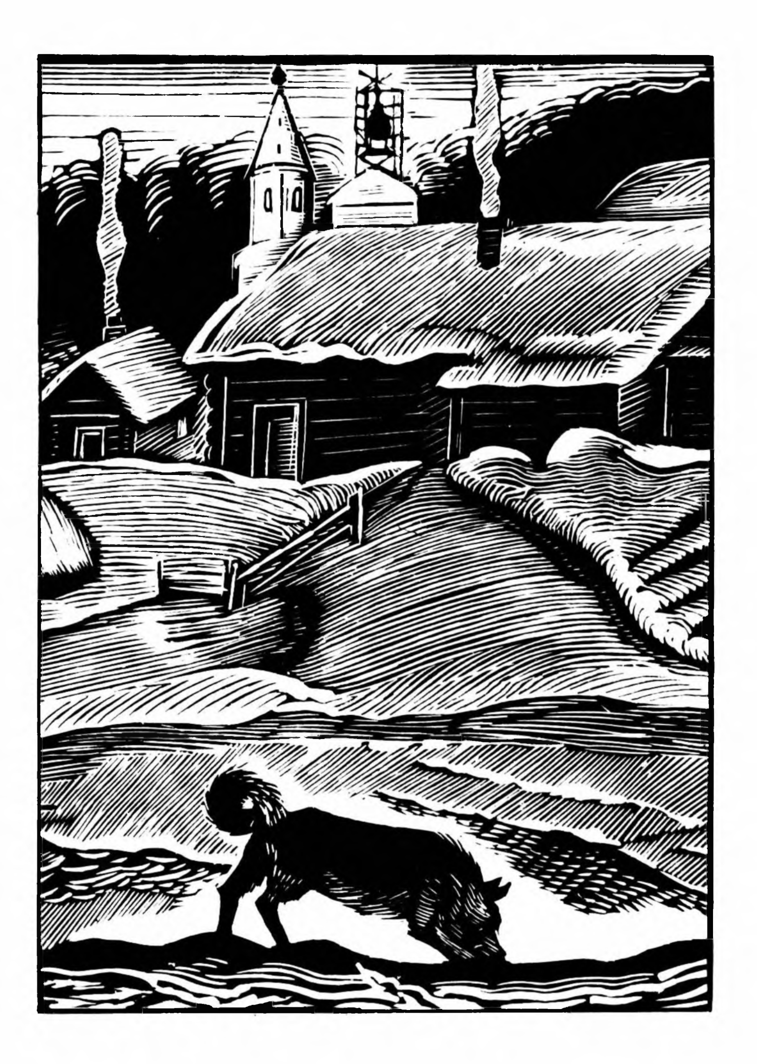
— Ты погляди на него...

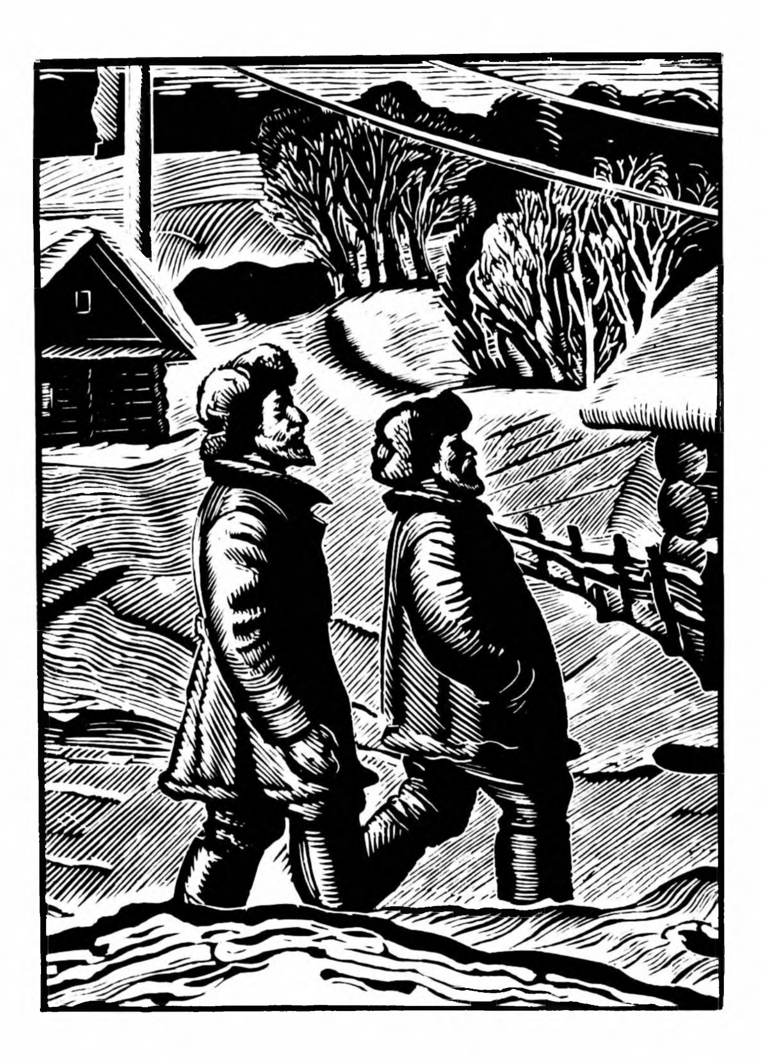
— На кого?

— Да вон Козонков-то, дорогу батогом щупает.

Авинер Козонков, другой мой сосед, проваливаясь в снегу, при помощи березовой палки правился в нашу сторону. Ступая по нашим следам, он наконец выбрался к бане.

— Ночевали здорово.





— Авинеру Павловичу, товарищу Козонкову,— сказал Олеша,— наше почтение.

Козонков был сухожильный старик с бойкими глазами; волосы тоже какие-то бойкие, торчали из-под бойкой же шапки, руки у него были белые и с тонкими, совсем не крестьянскими пальчиками.

— Что, не отелилась корова-то?— спросил Олеша.

Козонков отрицательно помотал ушами своей веселой шапки. Он объяснил, что корова у него отелится только после масленой недели.

— Нестельная она у тебя,— сказал Олеша и прищурился.— Ей-богу, нестельная.

— Это как так нестельная? Ежели брюхо у ее. И подхвостица, старуха говорит, большая стала.

— Мало ли что старуха наговорит,— не унимался Олеша.— Она, старуха-то, может, и не разглядела понастоящему.

— Стельная корова.

— Какая же стельная? Ты ее до ноября к быку-то гонял? Ты посчитай, не поленись, сколько месяцев-то прошло. Нет, парень, нестельная она у тебя, останешься ты без молока.

Я видел, что Олеша Смолин просто разыгрывает Авинера. А тот сердился всерьез и изо всей мочи доказывал, что корова обгулялась, что без молока он, Козонков, вовек не останется. Олеша нарочно заводил его все больше и больше:

— Стельная! Ты когда ее к быку-то гонял?

— Гонял.

— Да знаю, что гонял. А когда гонял-то? Ну, вот. Теперь давай считать...

— Мне считать нечего, у меня все сосчитано!

 Козонков окончательно разозлился. Вскоре он посо-

ветовал Олеше думать лучше о своей корове. Потом как бы случайно намекнул на какое-то ворованное сено, а Олеша сказал, что сена он сроду не воровал и воровать не будет, а вот он, Козонков, без молока насидится, поскольку корова у него нестельная, а если и стельная, так все равно не отелится.

Я сидел молча, старался не улыбаться, чтобы не обидеть Авинера, а он совсем разошелся и пригрозил Олеше, что все одно напишет куда следует и сено у него, у Олеши, отберут, поскольку оно, это сено, даровое, без разрешения накошено.

— Ты, Козонков, меня этим сеном не утыкай,— говорил Олеша.— Не утыкай, я те говорю! Ты сам вон косишь на кладбище, тебе, вишь, сельсовет разрешил могильники обкашивать. А ежели нет такого закона по санитарному правилу — косить на кладбище? Ведь это что выходит? Ты на кладбище трын-траву косишь, покойников грабишь.

— А я тебе говорю: напишу!

— Да пиши хоть в Москву, тебе это дело знакомое! Ты вон всю бумагу перевел, все в газетку статьи пишешь. За каждую статью тебе горлонару на чекушку дают, а ты по суседскому делу хоть разок пригласил на эту чекушку? Да ни в жись! Всю дорогу один дуешь.

— И пью! — отрезал Авинер.— И пить буду, меня в районе ценят. Не то что тебя.

Тут Олеша и сам заметно разозлился.

— А иди ты, Козонков, в свою коровью подхвостицу,— сказал он.

Козонков и в самом деле встал. Пошел от бани, ругая Олешу, потом оглянулся и погрозил батогом:

— За оскорбление личности. По мелкому указу!

— Указчик...— Олеша взялся за топор.— Такому указчику хрен за щеку.

Я тоже взялся за пилу, спросил:

— Чего это вы?

— А чего?— обернулся плотник.

— Да так, ничего...

— Ничего оно и есть ничего.— Олеша поплевал на задубевшие ладони.— Всю жизнь у нас с ним споры идут, а жить друг без дружки не можем. Каждый день проведывает, чуть что — и шумит батогом. С малолетства так дело шло. Помню, весной дело было...

Олеша, не торопясь, выворотил гнилое бревно.

Теперь отступать было некуда, баню распечатали, и волей-неволей придется ремонтировать. Слушая неторопливый разговор Олеши Смолина, я прикинул, сколько дней мы провозимся с баней и хватит ли у меня денег, чтобы расплатиться с плотником.

Олеша говорил не спеша, обстоятельно, ему не надо было ни поддакивать, ни кивать головой. Можно было даже не слушать его, он все равно не обиделся бы, и от этого слушать было еще приятнее. И я слушал, стараясь не перебивать и радуясь, когда старик произносил занятные, но забытые слова либо выражения.

5

— Весной дело было. Мы с Козонковым точные одногодки, всю дорогу варзали вместе. В деревне было нашего брата-малолетка, что комарья, ну и Козонковы братаны тоже крутились в этой компании. Как сейчас помню, оба в холщовых портках. Портки эти выкрашены кубовой краской, а рубахи некрашеные. Ну, конечно дело, оба босиком. Черные, как арапы. Звали их

соплюнами. У старшего, Петьки, бывало, сопля выедет до нижней губы. Ему лень вытереть, возьмет да и слизнет — как век не бывало. Вот, помню, кажись, на третий день пасхи вся наша орда высыпала на Федуленкову горушку. У нас такая забава была — глиной фуркать. Прут ивовый вырежешь, слепишь птичку из глины и фуркаешь, у кого дальше. Далеко летело, у иного и за реку. Чем меньше птичка да чем ловчее фуркнешь, тем лучше летит. А наш Виня взял да насадил на прут целую гогырю с полфунта весом, все надо было, чтобы лучше других, размахнулся да как даст. Прямохенько в Федуленково окно и угодил. Стекло так и брызнуло, обе рамы прошиб. Мы все и обмерли. А после очнулись да бежать.

В это время Федуленок сам не свой из избы выскочил, того и гляди, убьет кого. Мы в поле, врассыпную, босиком по вешним-то лужам. Бегу я, бегу да оглянусь — вижу, Федуленок за нами бежит. В сапожищах бежит, в одной рубахе, чую, что сейчас мне крышка, вот-вот раздавит. «Стой,— кричит,— прохвост, я тебе все одно настигну». Ну и настиг. Взгреб он меня лапищами, да и давай меня корежить, ну чисто медведь-шатун. Ничего не помню, помню только, что ревел, как недорезанный. Федуленок меня прикончил бы, как пить дать прикончил, не прибеги мой отец на выручку. Отец-то, видать, соху оставил в борозде, да и прибежал мою жизнь от смерти спасать.

Федуленок от меня и отступился, а мне, думаешь, легче? От отца мне еще больше попало. Кабы я стекло разбил — не обидно. А ведь как все получилось? Как Винька от Федуленка выкрутился? Соплюн соплюном, а когда припекло, так соображенье и появилось. Да еще и хвастает перед нами-то: я, мол, когда Федуленок

на улицу выскочил, никуда не побежал, на месте стою, да приговариваю: «Вон оне побежали-то! Вон оне в поле побежали!» Ну, Федуленок и ринулся за нами всей своей массой да меня и настиг. А Виня — хоть бы ему что — остался целым и невредимым. Оне оба с Петькой лежни были, ничего им не далось. Умели только дрова пилить, за ручки пилу дергать. Отец к делу их особо не приневоливал, да и сам, бывало, не переломится на работе. Все больше рассуждал да на печке зимой грелся, а летом не столько сено косил, сколько рыбу удил. Они с моим отцом пришли с японской войны в один день. Мой тятька хромой пришел и весь в дырках, как решето, а Винькин отец целехонек. У нас и избы рядом стояли, и земли было поровну — у обоих кот наплакал. Помню, мой тятька и давай Козонкова уговаривать, чтобы, значит, на паях подсеку в лесу рубить. Козонков ему говорит: «А на кой фур мне эта подсека? На мой век и прежних полос хватит. А ежели сыновья вырастут, так пусть сами и смекают. Я им не мальчик, об ихней доле заботиться». Так и не согласился Козонков. Отец у нас ту подсеку один вырубил. Ночей, грешник, не спал, с глухим лесом сражался. Сучья жег, пеньки корчевал по два лета. Посеял льну. Лен вырос — пуп скрывает, помню, и в престольный праздник велел теребить, на гулянку не отпустил. С этого льну он и лошадь — Карюху — завел новую, хорошую. Бывало, берег ее, как невесту, даже и с пустого воза слезал, ежели в гору. Только на ровном месте да под гору и садился на дровни. Ну, конечно, и нас учил этому,— бывало, в галоп в поскотину век не прокатишься.

Ну, а Козонковы-братаны? Оне, бывало, свою Рыжуху, как собаку, батогом дразнили. Хорошая была

тоже лошадь, да довели, напоили один раз с пылу в проруби, Рыжуха и стала худеть; помню, жалко ее, стоит она, бедная, стоит и целыми часами плачет. Отец Козонков ее цыганам и променял. Те ему дали в придачу поросенка-пудовичка. А выменял такого одра, что не то что пахать, так и навоз-то возить на нем нельзя. Скоро этот цыганский мерин и сдох от старости. Козонкову это хоть бы что, только насвистывает. Бывало, доживет до тюки: кусать совсем нечего. Ну, и пошел денег занимать. У одного займет, у другого, у четвертого займет да второму отдаст, так и шло дело.

Один раз подкатило такое время, что у всех назанимал. Чисто место, некуда больше идти. Остался один Федуленок. Пришел Козонков к Федуленку денег взаймы просить. Маленькая печка в избе топится, сели они у печки, цигарки свернули. Козонков денег попросил, достал из кармана спички. Чиркнул спичку, прикурил. «Нет, Козонков, не дам я тебе денег взаймы!» — Федуленок говорит. «Почему? — Козонков спрашивает.— Вроде я свой, деревенский, и за море не убегу».— «За море не убежишь, сам знаю, только не дам, и все». Сказал так Федуленок, уголек выгреб из печи, положил на ладонь да от уголька и прикурил. «Вот,— говорит,— когда ты, Козонков, научишься по-людски прикуривать, тогда и приходи. Тогда я слова не скажу, из последних запасов выложу».

На что был справный мужик, иной год и трех коров держал, а прикурил от уголька, спичку сберег. Так и не дал денег, а с Козонкова все как с гуся вода. Пошел из избы: «Мне,— говорит,— и денег-то не надо было, это,— говорит,— я твою натуру испытывал». Уж какое не надо!

Помню, нам с Винькой было уж по двенадцать го-

дов, приходскую школу окончили. Винька на своем гумне все ворота матюгами исписал, почерк у него с малолетства как у земского начальника. Отец меня только под озимое пахать выучил. Карюху запряг, меня к сохе поставил и говорит: «Вот тебе, Олеша, земля, вот соха. Ежели к обеду не спашешь полосу, приду — уши все до одного оборву». И сам в деревню ушел, он тогда этот, нынешний, дом рубил. Я — велик ли еще — за соху-то снизу, сверху-то мал ростом. Но, милая, пошли-поехали! Карюха была умница, меня пахать учила. Где неладно ворочу, дак там она меня сама и выправит. Вот иду и дрожу, не дай бог соха на камень наедет да из земли выскочит. Ну, пока бороздой прискакиваешь, вроде и ничего, а как до конца дойдешь, когда надо заворачиваться да соху-то заносить, так сердце и обомрет. Мало было силенок-то, аж из тебя росток выходит, до того тяжело. Комары меня кушают, на разорке[1] так и прет в сторону. Ору я это, землю родимую, ору, новомодный оратай, уж и в глазах у меня потемнело. Карюха на меня поглядывает, видать, и ей жаль меня, малолетка. Полосу-то вспахал, да и чую, что весь выдохся, руки-ноги трясучка обуяла, язык к нёбу присох. Лошадь остановилась сама. А я сел на землю да и пышкаю, как утопленник воздух глоткой ловлю, а слезы из меня горохом катятся. Сижу да плачу. Не слыхал, как отец подошел. Сел он рядом да тоже и заплакал. Голову руками зажал: «Ох,— говорит,— Олешка, Олешка».

Ты, Костя, сам посуди, семья сам-восьмой, а работник один, да и то японским штыком проткнут. «Паши,— говорит,— Олеша, паши, уж сколько попашет-

[1] Разорок — последняя узкая лента невспаханной земли, после которой остается лишь борозда.

ся». Ну, делать нечего, надо пахать. Ушел отец, а я и давай пахать вторую полосу... У Козонковых полосы рядом с нашими. Козонков-отец пашет, а Винька за ним ходит да батожком навоз в борозду спехивает. Вижу, ушел Козонков в кусты, а Винька ко мне: «Олешка,— говорит,— до того мне напостыло навоз спехивать. Оводы,— говорит,— заели, так бы и убежал на реку». Я говорю: «Тебе полдела навоз спехивать, я бы на твоем месте не нявгал»[1].— «А хошь,— говорит,— сейчас на слободе буду?» Пока отец в кустах был, наш Виня взял с полосы камень, да и подколотил у сохи какой-то клинышек. Отец пришел, а соха не идет, да и только. Все время из борозды прет. Козонков соху направлять не умел. Пошел Федуленка просить, чтобы тот соху направил. Пока то да се, глядишь, и обед, надо лошадей кормить, Винька и рад. Так он этому делу навострился, что, бывало, отец у него только немного замешкается, Винька раз — и клинышек подколонул. Соха не идет, и Виньке свобода полная. На сенокосе все на солнышко глядел, когда оно к лесу опустится. А то пойдут с маткой дрова рубить, Виньке надоест, возьмет да и спрятает маткин топор. Мохом его обкладет, топор-то...»

Олеша замолчал, чтобы сделать передышку. Он вытесывал очередную лату для вывешивания бани. Мне подумалось, что разговоры отнюдь не во всех случаях мешают работе. В этом случае даже наоборот: разговор у Олеши Смолина как бы помогал работе плотницких рук, а работа в свою очередь оживляла разговор, наполняя его все новыми сопоставлениями. Так, к примеру, когда выставляли раму и разбили стекло, Олеша

[1] **Нявгать** — стонать, капризничать.

тут же и вспомнил, как попало ему за то разбитое Винькой стекло. С того стекла и пошло у него шире, дальше... Это была какая-то цепная реакция. Олеша говорил не останавливаясь. И я почувствовал, что теперь было бы уже неприлично не слушать старого плотника.

6

— Ну вот, я Виньке Федуленково стекло никак не мог забыть и не один раз ему пенял, а потом мы с ним и разодрались в первый раз. «Я,— говорю,— тебе стукну за это стекло».— «Вали!» — «И вальну!» — «А вот вальни!» Сцепились мы на ихнем гумне. Дома узнали — мне опять дера. Пошто, дескать, дерешься. Все деры из-за него, сопленосого. Один раз слышу, отец с маткой разговаривают: мол, Козонкова пороть собираются. Так, думаю, этому Вине и надо, не все меня одного пороть. Только слышу, что пороть-то будут не Виньку, а евонного отца: подати не платил, вот ему и присудили. А мне жалко стало. Ну, ладно, малолетка порют — нам это дело по штату положено. А слыхано ли дело, Платонович, больших мужиков да вицами по голому телу? Бородатых-то? Волостной старшина у нас был, звали Кирило Кузмич. Маленький мужичонка, много годов бессменно в управе сидел. И расписываться не умел, крестики на бумаге ставил, а имел от царя треугольную шапку и кафтан за выслугу лет. Писарь, да урядник, да этот Кирило Кузмич — вот и все начальство. На целую волость — три. А в волости народу было пятьсот хозяйств.

Вот этот Кирило Кузмич все время Козонкова и

выгораживал, пока из уезда не приехал казацкий контроль. У кого корову описали за подати, у кого телушку, у Козонкова описывать нечего — назначили ему деру. Меня на эту картину отец не отпустил, говорит: нечего и глядеть на этот позор, а Винька бегал. Бегал глядеть да еще и хвастался перед нами: мол, видел, как тятьку порют, как он на бревнах привязанный дергался... Эх, Русь-матушка! Ну, выпороли Козонкова-отца, а он у писаря денег занял, косушку купил. Идет домой да поет песни с картинками... Волосья на одну драку осталось, а он песни похабные шпарит... Да.

Помню, начали, значит, и мы с Винькой на девок поглядывать. По тринадцать годов обоим, зашебаршилось у нас, иное место тверже кочедыка. Помню одно событие осенью, ближе к покрову. Ночи темные, вся деревня как в деготь опущена. Я дрова у гумна складывал, приходит ко мне Винька. «Иди-ко,— говорит,— сюда, чего-то скажу».— «Чего?» — говорю. «А вот иди-ко...» Я гумно на замок запер, а дело в субботу было, и на улице уже темно стало. Воздух этот такой парной от тумана, слышно, как дымом пахнет, бани только что протопились. Виня и говорит шепотком: «Пойдем, Олешка, со мной» — «Куда?» — «А вот сейчас увидишь куда».

Ну, я иду за ним. Огород перелезли, а темно, ткни в глаз — ничего не видно. Еще один огород перелезаем, вдруг как треснет подо мной жердина. Виня на меня: «Тише,— говорит,— дурак, иди, чтобы не слышно было!» Подхожу ближе, как вор, вижу строение какое-то, вроде бани Федуленкова. В окошечке свет, лучина горит, слышно, как от воды каменка шипит, Федуленковы девки парятся, разговаривают.

Винька пригнулся да из-за угла, как кот, к окошку-

то. Шапку нахлобучил и в баню глядит. Я стою сам не свой. Винька поглядел, отодвинулся, да и шепчет: «Гляди теперь ты, Олешка, только недолго, а я еще потом погляжу!» Ну, я ничего не помню. К окошку меня, как магнитом, так само и волокет, дрожу весь, как глянул в баню-то, будто в кипяток меня окунули. Чувствую сам, что нехорошо делаю, а и оторваться нет никакой силы-возможности. Девки Федуленковы с лучиной моются, одна Раиска, другая Танька — помоложе. Танька наша ровесница, румяные обе, розовые. Вижу, Раиска новую лучину от старой зажигает, стоит на самом свету, ноги что кряжи. У Таньки, у той титечки как белые репки. Меня всего так и трясет, а сзади Винька вот за полу дергает, вот дергает: «Дай,— говорит,— теперь мне». А ведь оконышко-то еле во ставу стоит, стекла на лучинках чуть держатся, и весь наш хитрый шорох слышно. Девки-то присели да как завизжат! Мать честная, бросился я от окошка-то да на Виньку, да через него перелетел, носом в холодную грядку. Кинулись мы от бани, как наскипидаренные, по капусте, через изгородь да в темное поле! Крюк с версту обогнули да в деревню с другой стороны. Утром отец будит: «Олешка,— говорит,— где у тебя ключ-то от гумна?» — «Как,— говорю,— где, в пинжаке». — «Где в пинжаке, ничего нет в пинжаке». Весь сон с меня так и слетел. Искали,— нет ключа, хоть стой, хоть падай. «Потерял,— говорю,— где-то».

Пришлось отцу из гуменных ворот пробой вытаскивать, а вечером приходит к нам Федуленок. Отец ушел на ночь, овин сушить. Дома была одна матка, Федуленок и говорит: «Возьми, Олешка, свой ключ да больше не теряй. В бане-то мылся вчерась?» — «Нет,— матка моя говорит,— баню-то мы вчерась не топили, каменку

надо перекладывать». Федуленок говорит: «Оно и видно, что не топили». А сам вот усмехается. Я на скамье как на гвоздях сижу, готов сквозь землю провалиться, и уши у меня так и горят. Федуленок ушел, ничего не сказал, только головой покачал. Век ему этого не забуду, что не сказал никому про баню. Только иногда после, бывало, увидит, усмехнется, да и скажет: «Баню-то не топил?» Потом он от меня отступился и больше не вспоминал это дело. Вот, брат Костя, какая баня со мной была...

Олеша по-молодецки воткнул топор. Синие стариковские глаза глядели спокойно и мудро, в то время как нос и рот изображали нескрываемое озорство.

— В молодости все мы люди только до пояса.

Олеша закурил. Постигнув наконец смысл его пословицы, я спросил:

— Покаялся после?

— Попу-то?

— Да.

— Нет, брат, я к тому времени и на исповедь не ходил. Уж ежели каяться, так перед самим собой надо каяться. Противу своей совести не устоять никакому попу.

— Ну, допустим, совесть не у каждого.

— Оно правда, не у каждого. Только без совести жить — не жить. Друг дружку переколотим. Вот тятька мой, покойная головушка, был хоть и не больно строг, а любил в людях сурьезность. И деткам потачки не делал, ни своим, ни чужим. В словах у него тоже разницы не было, что с большими говорил, то и от маленьких не скрывал. Да и скрывать-то, чего скрывать? Вся евонная жизнь была как на блюдечке, дело ясное.

Работал всю жизнь до смертного часу, а кто работает, тому скрывать нечего.

Помню, на масленицу пекла матка овсяные блины. Сперва отец наелся, после я за стол. По семейному чину и старшинству. Отец сидит, хомут вяжет да на меня поглядывает. Я блинов с рыжиками да с маслом наелся, хочу из-за стола встать. «Стой, Олешка,— тятька говорит.— Сколько блинов штук съел?» — «Пятнадцать»,— говорю. «А ну, садись, ешь еще!» — «Не хочу, тятя».— «Ешь!» Я, значит, опять ем, а матка пекет, только сковорода шипит. «Сколько съел?» —отец спрашивает. «Двадцать пять»,— говорю. «Ешь!» Я сижу, ем. «Сколько?» — «Тридцать два стало».— «Ешь!» Я ем, а отец хомут отодвинул и говорит: «Ну как, Олеша, не перевалил еще на пятый десяток?» — «Нет, тятя, до сорока два с половиной осталось». Сидим. «Дотянул?» — «Дотянул,— говорю,— тятя». А сам еле пышкаю. «Ну, коли дотянул, так давай, матка, собирай ему котомку, пусть в Питер с мужиками идет!» Матка в слезы. Куда, дескать, малолетка плотничать, тринадцать годков еле сбылось. Отец встал да и говорит: «Ты, матка, свои звуки и слезы прикрой, а Олешке неси новые катанки». Тут я, голубчик, и нагулялся, натешился. Только одну ночку дома и ночевал.

До Питера ехали двенадцать ден. Ехали и по ночам, лошадей покормим — и опять в путь. Иду за роспусками да сам себя ругаю: пошто, думаю, мне, дураку, было те два с половиной блина лопать? Сидел бы сейчас на теплой беседе да куделю у девок из прялок дергал. Про Таньку как вспомню, так у меня сердечишко-то и лягнет под шубой. А полоз вот скрипит, лошади фыркают, кругом темный лес. По елкам красный месяц колобом катится, волчица перекликается со своим се-

рым хахалем. Мне и жаль самого себя, и плакать противно, слезы перерос, до крепости не дорос.

Приехали мы в Питер. Две фатеры испробовали, на третьей остановились. Первый сезон за одни харчи работал — век не забыть этот первый сезон, рубили какую-то хитрую каланчу. Шестиугольная, помню, вроде колокольни, купцу, вишь, взбрело в голову. Ярыка мужик, да Коля Самохин из нашей деревни, да Ондрюшонок Миша — всех девять человек, я десятый, довесочек. Топор у меня был свой. Помню, Ондрюшонок мне шумит: «Олешка! А ну, вставай к бревну. Окантуй сперва да горб стеши». Я, значит, топорик взял, приноровился, ноги расстановил пошире. Раз тюкнул, другой. А бью-то все сбоку, не по слою тешу, а поперек, по-бабьи. Сбоку, одно слово, и ничего у меня не подается. Гляжу, Самохин уж второе бревно начал, а я и первое до половины не доехал. Весь вспотел. Вот Ондрюшонок, вижу, топор воткнул, подходит ко мне. «Олешка!— говорит.— Сбегай-ка вон к Ярыке, попроси у его бокового правилка. А то больно уж ты, парень, неровно тешешь-то». Я прибежал к Ярыке: «Дядя Иван, меня Ондрюшонок к тебе послал, дай на время боковое правилко».— «Ладно,— говорит,— батюшко, сейчас дам. Вон посиди пока, подожди». Вижу, взял обрезок, ровный такой, в сажень длиной. Повертел, повертел, да и спрашивает у десятника: «Как думаешь, Миколай Евграфович, этот подойдет на правилко?» Десятник говорит: «Нет, Иван Капитонович, этот, пожалуй, тонок будет». Я стою, жду, Ярыка другой обрезок взял потолще. «Иди,— говорит,— Олешка, поближе». Я подошел, а он начал меня этим правилком по бокам охаживать! Одной рукой меня за шкирку держит, другой правилком работает. Я кручусь, верчусь, а

боковое правилко по мне ходуном ходит... Выправили. После этого я сбоку уж бревно не тесал, а тесал вдоль. Считай, пятьдесять годов плотничаю.

Олеша смачно откашлялся.

— Как думаешь, не хватит для первого разу? Давай-ко, брат Платонович, шабашить.

Я был от души рад этому предложению, и вскоре мы разошлись по домам.

Впервые за много лет я заснул как убитый, и во сне, помимо сознания, всю ночь в сладкой усталости ныли обновленные мускулы.

7

После стремительной стычки с Олешей Авинер к бане не показывался. Однажды Олеша сказал мне, что в гости к Козонкову приехала дочь Анфея, да еще и с ребенком. Олешу на чай не пригласили... Баня продвигалась медленно, и вот я твердо решил сходить к Авинеру, чтобы позвать плотничать, а заодно и примирить его с Олешей, погасить стариковскую свару.

Как-то утром я тщательно выбрился и с чувством третейского судьи обул валенки. Накануне жажда добра долго копилась во мне, и к Авинеру я направился бодро и решительно. Правда, эта бодрость вскоре сменилась некоторой растерянностью: на тропке к Авинерову дому сидел громадный волкодав. Он сонливо, молча щурился, и я на всякий случай сунул руки в карманы. Черт знает, что на уме у этого пса. Но как раз этого-то и не надо было делать. Мое движение пес воспринял как подготовку к нападению и встал с жутким рычанием. Тогда я вытащил руки и, сознавая свое унижение, потряс в воздухе кистями, убеждая, что в них

ничего опасного нет и что я — существо доброй воли...

В избе у Авинера пахло новорожденными ягнятами. Сам Авинер Павлович Козонков сидел в шапке на углу стола и читал «Родную речь» для третьего класса. На печи, стараясь не остановиться, ненатуральным голосом, равнодушно и упрямо ревел внук Авинера Славко. Здешний внук, не приезжий, как выяснилось позднее.

— Авинер Павлович! Привет! — сказал я с несколько излишней веселостью и тут же слегка покраснел от этих излишек.

Козонков сперва важно подал мне свою ладонь и давнул мои пальцы. Мне тоже пришлось легонько давнуть руку Авинера. Но Козонков давнул еще раз, а я этого не ожидал и с ощущением должника сел на лавку.

Помолчали. Славко на печи настырно ревел, хотя в интонации голоса чуялся интерес к моему приходу.

— Метет,— сказал я и подумал, что вряд ли нынче брошу курить.

— Метет,— сказал Козонков.

— Метет. Не холодно в избе-то?

— У меня тепло.— Козонков положил книгу.

— Вот зашел...— Я уже чувствовал, что начинаю теряться.

— Дело хорошее.

— ...посидеть.

— Хорошее дело.

Славко ревел. Пауза оказалась такой мучительной, длинной, что я вспомнил анекдотический диалог двух старух, которые встретились в областном центре на главной площади. Одна остановила другую и спросила, обрадованная: «Это, Матрена, ты?» — «Да я-то Матрена, а ты-то кто?» — «Да я-то Евгенья, из Гридина бы-

вала».— «Ну так ведь и я из Гридина, узнала меня-то?» — «Нет, милая, не узнала»,— сказала Евгенья и пошла дальше. Я сделал попытку завязать разговор.

— Не бывал, Авинер Павлович, на озере?

— Нет, брат, на озере не бывал, на все время надо.

— Да, на все время надо, само собой.

— Время, да и времечко,— Авинер кашлянул.

— Оно конечно...

— То-то и оно.

— Да-да...

Я с тоской оглядел избу. Славко продолжал свой рев упорно и планомерно, словно дал подписку реветь до самой весны. С потолка, оклеенного газетами, глядели аншлаги и шапки, набранные чрезвычайным шрифтом, пол был не метен. На стенке ехидно тикали часы, приводимые в движение не столько гирей в виде еловой шишки, сколько привязанным к ней старинным амбарным замком. Рядом с часами висела фанерка — самодельное объявление «не курить, не сорить», причем крупно нарисованная частица «не» была общей для обоих глаголов и стояла впереди них.

Положение было глупым до крайности, но меня неожиданно выручила Евдокия — пожилая Авинерова соседка. Она специально, говоря ее языком, натодельно, пришла глядеть Авинерову дочь Анфею, приехавшую с ребенком в отпуск. Однако Анфея, как выяснилось, вместе с мальчишкой и матерью ушла к родственникам в другую деревню, и заход у Евдокии вышел пустой. По этой причине Евдокия долго охала и сказала, что придет еще. Уходя, она подошла к печи, где сидел и ревел внук Авинера. Оказывается, ревел он еще со вчерашнего из-за того, что его не взяли в гости.

— Славко, ты все плачешь?— Евдокия всплеснула

руками.— Утром была — ревел, и сейчас пришла — ревишь. Разве ладно? Отдохни, батюшко.

На печке затихло. Славко словно рад был, что его остановили. Он нерешительно вздохнул:

— Я бауска, отдохну.

— Вот, вот, батюшко, отдохни, — ласково сказала Евдокия.

— А потом иссо буду.

— Потом еще поревишь, а сейчас отдохни, — Евдокия постояла, собираясь уйти.

— Ты, Евдокия, не в лавку пошла-то? — спросил Козонков.— Купила бы мне чекушку к чаю.

— Да как не куплю, знамо куплю. Купить не долго.

Авинер Павлович открыл шкаф и поскреб в сахарнице. Достал рубль с мелочью. Тут я догадался, что пришло время действовать, сунул в задний карман два пальца и быстро вытянул трешницу...

Лед был сломан. Евдокия ушла, а мы с Козонковым закурили «Шипку», мне стало как-то легче дышать, хотя Славко вновь захныкал на печке. Козонков спросил, где я живу и сколько отпуск. В ответ на мои «двадцать четыре дня без выходных» Авинер выпустил дым и сказал, что раньше у подрядчика плотничали без всякого отпуска. Потом похвалил сигарету.

— Не думаешь, Авинер Павлович, курить бросать?

— А пошто? — Козонков закашлялся. — Не для того я привыкал, чтобы отставать. Бывало, ежели не куришь да в работу уйдешь, плотничать, дак прямо беда. Мужики сядут курить, а ты работай. Уж не посидишь. Мне вон дочка говорит: ты ведь умрешь от курева-то! А я говорю: умру, так меньше вру. Чего любишь, да от того и отстать, какое дело? Помню, пошли бурлачить,

подрядились втроем, я да Степка. (Я поначалу не мог догадаться, что третий был Олеша Смолин.) По девяносто рублей с благовещенья до Кузьмы. Подрядчик свой, местный, холера. Работать велит и после солнышка. А я один раз сел и говорю, что после солнышка только на дураков работают. Топор за ремень — и пошел в избу. Руки вымыл, нет Степки. Чую, топоры стукают. Ну, думаю, я тебя проучу, работника, ишь выслуживается. У меня был товарищ из местных, такой долбило, все, бывало, кур воровал. Подлезет в сумерки, схватит да как даст, из иной и яйцо выскочит. Вот, был пивной праздник, надо гулять идти. А в части харчей худо было, хозяйка скупая, все ножик под стол совала, чтобы мы, значит, меньше ели. Я, помню, еще до праздника слышу — ходит она на повети. Вот и говорю: «А что, ребята, стоит только топору влепиться — и скотина в доме не будет копиться!» Знаю, что слышала, только все равно кормит худо. Был, значит, у ее поросенок. Ушла один раз на работу и попросила меня, чтобы этого поросенка накормить. Я пойло на землю вылил, а в хлев-то зашел с хорошим колом. До того я довозил этого поросенка, он от меня на стены начал кидаться. Приходит хозяйка. «Покормил, Авинер, животинку-то?» — «Добро,— говорю,— поел». Вечером она пошла в хлев, а поросенок-то от нее на стены. Я говорю: это, наверно, у его бешенство, надо колоть. Поохала, да пришлось резать. До того были шти хорошие...

Вскоре пришла Евдокия с поклажей. Козонков выставил на стол свои «шти», которым было весьма далеко до тех, хозяйкиных. Евдокия ушла из скромности, а Козонков позвал Славка обедать. Славко слез, но реветь не перестал. Тогда Авинер налил в чашку сколько-то водки и подал мальчишке. Славко перестал ре-

веть и потянулся ручонкой, чтобы чокнуться. В другой ручонке была зажата конфета...

Козонков строго пригрозил внуку:

— Не все сразу!

Я пытался протестовать: мальчишке было всего шесть или семь. Но Козонков даже не повел ухом и принял протест, как шутку. Я чокнулся с обоими... Славко глотнул, судорожно дернулся, лицо его исказилось, но водку он все же удержал внутри и с радостным испугом поглядел сперва на деда, потом на меня.

Слезы ручьями потекли из глаз мальчишки, но он улыбался с восторгом победителя. Я, плохо соображая, продолжал слушать Авинера...

8

— Вот, значит, пивной праздник. Похлебали мы моих штей, а я взял да и сунул в карман точильный брусок. Олеха гулять не пошел, а мы со Степкой. Пошли, вышли в поле. Я брусок-то вынул да как дал в затылок Степке-то, сбил с ног, да и давай молотить. Дак он, чудак, еле из-под меня вывернулся, соскочил да бежать. На другой день прихожу на работу, мне подрядчик говорит: иди куда хошь, мне таких боевых не надо. Куда деваться?

Ладно. Подрядились мы со Смолиным к купцу, церкву он ладил. Неделю-полторы пожили, бревна на церкву тешем. Один раз пошли гулять к девкам. А денег нету, только полтинник. Я говорю: «Дай, Олеха, полтинник-то, я хоть вон девкам конфет куплю». Он пошел, а я говорю: «Иди, я догоню»,— сам захожу в лавочку. Уж темно стало. В лавочке лампа горит, никого нету. Я, чудак, что делаю? Я постоял, постоял, да —

раз с прилавка штуку ситца. Под полу этот ситец запехал. Потом взял гирю, да и давай колотить о прилавок-то. «Есть, — кричу, — тут кто?» Выбежал хозяин, я ему и говорю: «Вот зашел, а в лавке нет никого». — «Ох, — говорит, — спасибо, приказчик в гости ушел, лавку не запер. Ведь меня бы, — говорит, — обчистили, хоть ты, парень, меня выручил. Чего тебе за это, спрашивай сам». Я говорю: «Мне бы маленькую да папирос, ну еще конфет каких, для праздника». Он мне две маленьких, папирос три пачки да еще полтора фунта конфет наворотил. «Ой, — говорит, — тебе спасибо, ведь меня бы могли обчистить!»

...Козонков успевал наливать в стопки и беспрестанно курил. Тем временем зажегся свет, включили электростанцию.

— Не сделал лампочку Ильича-то? — спросил Авинер. — Вон у нас так шесть лампочек, и на сарае горит, и в хлеву.

Козонков выпил и продолжал рассказывать:

— Ну, я из лавочки вышел да бегом. Олешу догоняю, гляди, говорю, какая депутация. Он и глазам не верит. Сели на канаву. «Пей», — говорю. Он не пьет. «Верни, — говорит, — все обратно». А для чего дано, чтобы обратно нести? Ну, выпил. А я ему из-под полы еще и штуку показываю. Он перепугался, я ему еще налил. Тут шла телеграфная линия. Я говорю, давай смеряем, хватит ли не хватит от столба до столба. Давай мерить. Скрутили. Я и говорю: «Придем в деревню, я пьяным прикинусь, а ты меня ругай, вот, мол, дурак, все деньги ухлопал, для чего штуку купил? Недоглядели мы, что, когда штуку мерили, ехал кто-то на тарантасе. На другой день — раз, урядник! И пошло следствие. Олешу моего таскают, а я ночевал тайно в

сеновале. Ему, дураку, нет бы струментик собрать да уйти потихоньку. А я думаю: нет, голубчики. Ночевал в сеновале, что делать? Денег нету. А церкву как раз только заложили. Я ночью колышком бревна-то отворотил, да все деньги, какие под углы-то были накладены, и собрал. И по рублю было, и по полтиннику, насчитал — семь рублей с копейками, а билет на паровоз стоит шесть рублей. На другой день приехал купец. Углы-то у заклада проверили — нет денег. Вижу, опять кладут. Ну, думаю, хорошо как, это мне на харчи. Только стемнялось — я к церкви. Хотел колышком бревно-то отворотить, а мне как хрястнут по спине, так у меня и в глазах круги. Сторожей, вишь, поставили. Еле успел отскочить да через канаву, да за гумно в неизвестном направлении. Свист, крик сзади, а я бегом да на станцию, ночи были темные. И топор с котомкой на квартере оставил, уехал домой.

...Козонков кинул окурок на пол и налил еще. Выпил уверенно, словно в награду за тот удачный ночной побег.

— Спина, правда, долго болела, стукнули чем-то березовым.

— Березовым?

— То ли коромысло, то ли еще что. Приехал домой, денег ни копеечки не привез, сказал матке, что обокрали в дороге.

...Я взглянул на старика: говорить об Олеше уже не было смысла. Козонков был пьяный и рассказывал про свою молодость. Я молча слушал, дивясь его памяти, а он выпил опять и вдруг надтреснутым, старчески тоскливым голосом затянул песню. Он пел печально про то, как по винтику, по кирпичику растащили целый завод, как товарищ Семен встречался с не-

вестой «где кирпич образует проход» и как потом снова собирали завод по винтику. Как раз в это время и вернулись из гостей Авинерова старуха и дочь Анфея с ребенком. Козонков не обратил на их приход никакого внимания. «Стал директором, управляющим, на заводе товарищ Семен»,— пел он, клоня сухую седую голову.

— Сам-то ты Семен, вишь, нахлебался опять и лыка не вяжет,— сказала Авинерова старуха.

— А кто хозяин в доме — я или курицы?— Козонков сделал попытку стукнуть по столу кулаком.

...Анфея была чуть постарше меня. Помню, как она приезжала с лесозаготовок и ходила на игрища вместе с Олешиной дочкой Густей. Сейчас она жеманно поздоровалась и ушла за перегородку. Мальчишка, ее сын, с ходу, не раздеваясь, начал сосредоточенно возиться с каким-то колесом. Он не глядел ни на кого. Подошел к столу и, никого не спросясь, взял две конфеты. Анфея вышла из-за перегородки уже не в валенках, а в туфлях и в капроне. Мальчишка фамильярно дернул ее за руку, басом спросил:

— Мам, а клопы летают?

— А ну, атступись!— отмахнулась Анфея, но мальчишка и сам уже забыл про свой вопрос. Она, видно было, усиленно стремилась говорить по-московски, на «а», однако изредка из нее прорывалась родная стихия. Один раз она назвала стакан стоканом.

Времени было уже много, и Козонков спал, уткнувшись головой в стол. Потухший окурок торчал меж тонких, не по-крестьянски белых пальцев. Я попрощался и пошел домой.

9

Наутро Олеша на баню не явился. Вот черт, старый колдун! Обиделся за то, что я сделал визит к Авинеру. Конечно, это Евдокия постаралась еще вчера, и вся деревня узнала о моей встрече с Авинером. Олеше доложили все подробности. Сельская, так сказать, принципиальность...

Почему-то мне стало весело.

Теперь, после недельного затворничества, в холостяцкой своей юдоли, я знал, что посуду лучше мыть сразу после еды, а выметать сор из избы удобнее, когда пылает русская печь. Потому, что пыль вытягивается в трубу. Правда, как раз когда топишь печь, хлопоча со всяким хозяйством, как раз тогда и набирается в избу еще больше всякого сору, который снаружи пристает к ногам, а в избе обязательно отваливается. Все же посуду мыть лучше сразу... Поэтому, чтобы не затягивать конфликт, я двинулся устанавливать отношения с Олешей.

Смолин поздоровался как ни в чем не бывало. Старик вслух читал вчерашнюю газету. Он отложил чтение и положил очки в допотопный футляр.

— Бог ты мой, иной раз задумаешься, даже дух заходится...

— ?

— ...а сколько на земле должностей всяких. Начальники, счетоводы, заместители, заведующие. Плотники. Где государство и денег берет?

— А толку нет, так в няньки иди,— смачно сказала Настасья. Она сидела довольно близко и сбивала мутовкой сметану.— Люди вон учатся по пятнадцать годов, читают все заподряд. Думаешь, легко голове-то?

— Читака...— Олеша даже отодвинулся.— Разве я про то говорю?

— А про чего?

Но Олеша не удостоил жену ответом. Словно сожалея, что дал себя втянуть в пустой разговор, он обратился ко мне:

— Вот, друг мой, на баню я больше не ходок.

— Почему?

— А вишь, приказ из конторы вышел, надо ветошный корм идти рубить. Сегодня бригадир зашел, вот хохочет. «Все,— говорит,— дедко, хватит тебе халтуру сшибать, иди в лес».— «Что,— говорю,— уж донеслось?» — «Донеслось»,— говорит. А сам вот хохочет. «Во,— говорит,— какая депеша поступила».

— Какая депеша? — я ничего не понимал.

— Депеша и депеша. На гербовой бумаге. Есть писаря в нашей деревне...

— Козонков, что ли?

Тут только я начал соображать, а Олеша беззвучно трясся на лавке. Не поймешь, то ли кашлял, то ли смеялся.

— Все, друг мой, по пунктам расписано.

Я не знал, что делать, и только моргал.

— А где бригадир?

— Да он на конюшню ушел только что. Беги, беги. Я схожу в лес часа на два. После обеда приду плотничать.

Олеша, кряхтя и охая, начал обуваться. Я побежал искать бригадира.

С бригадиром мы вместе учились до третьего класса. Вместе зорили галочьи гнезда и гоняли по деревне «попа», вместе прожигали штаны у осенних костров, когда пекли картошку. Потом он отстал от школы,

а я кончил семилетку и подался из деревни, наши пути разошлись в разные стороны.

Еще издали я услышал слова добродушного мата:

— Но, но, стой, как велено!

Бригадир широкой Олешиной стамеской обрубал коню копыта. Лошадь вздрагивала, испуганно кося большим, по цвету радужно-фиолетовым, словно хороший фотообъектив, глазом. Бригадир поздоровался так, что будто только вчера потух наш последний костер. Я хоть и был немного этим разочарован, но тоже не стал делать из встречи события.

— Дай помогу.

— Да не! Уже все. Отрастил копыта, будто галоши. Что, Крыско, легче стало?

— Это что, Крыско?

— Ну!

Крыско я хорошо запомнил. По тому случаю, когда однажды мерин хитрым движением легко освободился от моей, тогда еще вовсе незначительной, тяжести и, не торопясь, удалился, а я, корчась от боли, катался на прибрежных камнях. Я улыбнулся тому, что сейчас во мне на секунду шевельнулось чувство неотмщенной обиды. Положил руку на горбатую лошадиную морду. Конь с благодарной доверчивостью глубоко и покойно всхрапнул, прислонился к плечу широкой длинной косицей нижней челюсти.

— Ну что, как живешь-то? — веселый бригадир взял сигарету. — Ребятишек-то много накопил?

В голосе бригадира чуялись те же интонации, с которыми он обращался к лошади, спрашивая Крыска, легче ли ему стало, когда обрубили копыта.

— Да как сказать... Дочка есть.

— Бракодел. Долго ли у нас поживешь?

— Двадцать четыре. Без выходных.

Бригадир слушал почтительно и искренне-заинтересованно, и на меня вдруг напала отрадная словоохотливость. Я не заметил даже, как выложил все, что знал сам про себя. Собеседник, начав с количества и качества наследников, спросил, где и кем я работаю, какая квартира и есть ли теща, торгуют ли в городе резиновыми броднями и будет ли в ближайшее время война. На последний вопрос я не мог ответить. Что касается всех остальных, то рассказал все подробно. Сверстник не остался в долгу. Он говорил, что сегодня будет бригадное собрание, что в бригадиры его поставили насильно, что работать в колхозе некому, все разъехались, осталось одно старье; потом рассказал о том, как ловил с осени рыбу и простудился и как заболел двусторонним воспалением легких. Почему-то бригадир с особым удовольствием несколько раз произнес слово «двусторонним».

Крыско терпеливо дремал, дожидаясь, когда кончится разговор и когда понадобится что-то делать. Наконец я спросил насчет ремонта бани и той депеши, что пришла в контору по поводу Олеши. Бригадир засмеялся и махнул рукой, имея в виду Козонкова.

— А ну его! Он вон про магазин каждую неделю строчит жалобу. Привык писать с малолетства. Тут вот другое — конюха не могу найти. Иди ко мне в конюхи?

— Евдокия ж конюх.

— Да у ей грыжа.

— Ну, а старики? Олеша как, Козонков?

— К старикам теперь не подступишься, все на пенсии. Каждый месяц огребают. Нет, Козонков не пойдет, а Олеша — сторож на ферме.

— Так ты чего, сам и за конюха?

— Сам.— Бригадир завел Крыска в стойло.— Знаешь чего, давай объездим вон Шатуна? Я уж его разок запрягал.

В мои планы не входило объезжать лошадей. И все же я почему-то обрадовался предложению.

Шатун оказался здоровенным звериной трех лет от роду. Он обитал в крайнем стойле и, видимо, сразу почувствовал недоброе, потому что уж очень нервно вздрагивали его ноздри. Яблоки диких глаз неподвижно белели за ограждением.

Бригадир увел Крыска на место. Приготовил оброть, пропустил в кольца удил толстый аркан. Потом подволок новые дровни оглоблями к стене конюшни, снял брючный ремень и припас еловую палочку. Положил в карман.

— А это зачем?

— Губу крутить.

У меня слегка захолонуло под ложечкой, но отступать было некуда. Бригадир осторожно начал открывать дверцу, держа наготове оброть, начал подбираться к жеребцу и вкрадчиво, тихо уговаривать его:

— Шатун, ну что ты, Шатун. Шатунчик... У, б..., Шатунище!

Бригадир с матюгом выскочил из стойла, так как жеребец повернулся к нему задом. Дальше все началось сначала и кончилось тем же. Я с волнением следил за ними. В третий раз бригадир начал подкрадываться к жеребцу. Стойло было тесное, конь не успел увернуться, и бригадир накинул на него оброть, молниеносно окинул ремнем жеребячьи косицы. Лошадь встрепенулась, задрала могучую голову, но было уже поздно: кляцнуло о зубы железо. Бригадир вывел коня в коридор конюшни. Жеребец вздрагивал мышцами,

тревожно всхрапывал и прял ушами, готовый в одну минуту сокрушить все на свете. Бригадир ласково, словно ребенка, уговаривал жеребца, трепал его по плечу, пока тот не перестал мерцать кровяным глазом.

— Теперь наш!

Однако «наш» не торопился добровольно идти в оглобли. С великим трудом, припрыгивая и изворачиваясь, мы надели на жеребца хомут, а когда я заправлял под хвост шлею, то почувствовал, что от страха на лбу выступила испарина. Мне показалось странным, что жеребец ни разу почему-то не дал леща копытом, не отпихнул мощным задом и даже не мотнул по лицу хвостом! Надели седелку, застегнули подпругу. Жеребец дрожал всем телом, но я не мог поверить, что боялся он именно нас с бригадиром.

Наконец завели зверя в оглобли. Шатун стоял грудью в стену, и теперь стал понятен бригадирский маневр: просто жеребцу некуда было податься и дровни бы пятились вместе с лошадью. Но вот когда надо было стягивать клещевины хомута супонью, Шатун вдруг попятился, захрапел и так вскинул голову, что бригадир на секунду повис в воздухе. Он заматерился, закусил губу, и я вдруг заметил у него в глазах то же, что у коня, тоскливо-дикое выражение, но рассуждать было некогда. Он подскочил и схватился за узду, что было сил потянул морду жеребца, выбрал момент и вновь накинул гуж на оконечность дуги, приладился стянуть хомут. И опять Шатун мощно рванулся: мы, как снопы, отлетели в сторону. Я, однако, не выпустил повод, и жеребца опять водворили в оглобли.

— Ну, сука! — просипел бригадир и вытащил из кармана свой брючный ремень. — Держи!

Я изо всех сил ухватился за подуздцы. Бригадир

сделал из ремня петлю, просунул в нее нижнюю, мягкую, большую губу коня. Вынул из кармана палочку и начал ею закручивать ремень с зажатой в нем лошадиной губой. Жеребец весь, как бы самим своим нутром, задрожал и осел, храп его осекся, и глаза закатились, выворачиваясь наизнанку. Я всеми зубами и корнями волос словно и сам ощутил дикую лошадиную боль. В какой-то момент шевельнулась ненависть к бригадиру, который медленно, с искаженным лицом делал уже второй поворот закрутки.

— Крути!— прошипел бригадир.— Крути же, безмозглый черт, ну?

Я взял закрутку и сделал четверть оборота... Жеребец, оседая назад, ронял розовую кровавую пену, и я сделал еще четверть, ощущая всесветную боль, отчаяние и печальную дрожь животного. Бригадир быстро стянул хомут, молниеносно привязал к удилам вожжи и заорал, чтобы я быстрее прыгал на дровни. Я бросился на дровни, оглобля затрещала, жеребец метнулся вправо и понес, а бригадир не успел прыгнуть, и его на вожжах поволокло по снегу. На секунду жеребец, словно в недоумении от всего случившегося, замер в глубоком снегу. Этой короткой паузы бригадиру хватило, чтобы подскочить к дровням. Он плюхнулся прямо на меня, и мы понеслись вцелок, по снегам, ломая изгороди, давая свободу всей подстегнутой ужасом и болью энергии могучего бедного Шатуна. Теперь у меня было какое-то странное первобытное чувство безрассудства и самоуверенности — след от только что посетившей жестокости. Лишь потом задним числом накатилось недоуменное в чем-то разочарование, похожее на то, что испытываешь, поднимаясь по темной лестнице, когда заносишь ногу на очередную ступень, а сту-

пени нет — и нога на мгновение замирает в мертвом пространстве.

Уже через полчаса до предела измученный Шатун ткнулся окровавленной мордой в жесткий мартовский снег. От жеребца валил пар; в мыльной пене промеж мощных ножниц, он неподвижно лежал в глубоком снегу.

— Ну, теперь на большую дорогу,— сказал бригадир весело и продернул ремень в свои полосатые штаны.— Побежит как миленький. Не поедешь со мной в контору?

— Нет, не поеду.

Я не стал дожидаться выезда на большую дорогу и через огороды, по пояс проваливаясь в снег, вышел к деревне.

10

Олеша сдержал слово: после обеда он пришел ремонтировать баню. Мы не спеша стукали топорами. Погода за полдень потеплела. Солнце было огромным и ярким, снега искрились вокруг.

— Не клин бы да не мох, так и плотник бы сдох,— сказал старик, вытесывая клин.

Из новых Олешиных бревен мы уже вырубили один ряд. И вдруг старик между делом спросил, не рассказывал ли вчера Авинер про свою женитьбу.

Козонков про женитьбу не рассказывал.

— А что?

— Да ничего. Он, бывало, поехал со мной свататься. Я ему говорю: давай запряжем мои сани. Нет, заупрямился, запряг свои розвальни. Приехали, бутылку на стол, так и так, дело сурьезное. Деревня за

десять верст. Невеста за перегородку ушла, а отец у ее и говорит: «Подождите, ребята, я вашей лошади овса сыпну, а потом уж и будем о деле судить-рядить». Винька в избе остался, а я тоже вышел на улицу, думаю, как там лошадь-то. Гляжу, невестин отец несет нашей лошади лукошко овса. Высыпал да и глядит на завертки. Одну поглядел, другую. «Чьи,— говорит,— розвальни-то, твои, парень, аль жениховы?» Я не знаю, чего и сказать. Сказать, что мои, подумают, что жених в чужих розвальнях приехал, да и врать вроде нехорошо. «Жениховы»,— говорю. Зашли в избу, невестин отец и говорит Козонкову: «Нет, парень, пожалуй, нам не сговориться. Не отдам я тебе дочку».— «Что же, почему?»— Козонков спрашивает. «А вот,— это невестин отец,— вот повезешь мою девку к венцу, а у тебя на первой горушке завертка и лопнет. Девка-то,— говорит,— у меня ядреная, а у тебя завертки веровочные...»

— Так и уехали?

— Так и уехали. До того, друг мой, стыдно было, что хоть давись.

Я осмелел и спросил у Олеши, как женился он сам и вообще была ли у него в жизни любовь? Олеша, поворачивая бревно, отозвался:

— Любовь-та?

— Да.

— А как же. Была у меня и любовь, и корешковые сани были. Чтобы о масленице ее катать. Только она, моя любовь-то, за Печору от меня укатила.

— Что, сама уехала?

— Как тебе сказать... Пожалуй, не больно сама. И насчет масленицы — дело десятое оказалось.

И вдруг Олеша оживился, воткнул топор:

— Ты Ярыку-то помнишь? Здоровый был мужик, изо всего лесу. Он мне, бывало, говаривал: «Ты, Олешка, девок только не бойся. Будешь девок бояться — ничего путного из тебя не получится. Наступай,— говорит,— с первого разу. Она пищать будет, заверещит, а ты вниманья не обращай. Пожалеешь — пропало все дело, эта уж не твоя. Омманывать,— говорит,— не омманывай!— это дело худое, любой девке уваженье требуется. А и назавтра не оставляй». Я, бывало, слушаю, а сам краснею, и стыдно, и послушать охота. Только слушать одно, а на практике другое, практика эта мне не давалась... Помню, ходил в бурлаки. Зимогорить не остался, пришел из работы через девять недель. Деньжонок отцу принес да себе кумачу на рубаху. Иду домой, сердчишко воробьем скачет, скоро на гулянку явлюсь. Таньку увижу. А какая Танька у Федуленка была? Уж я тебе скажу... Помню, еще маленькие ходили в мох по ягоды. И Танька с нами. Мы, значит, с Винькой брусницы не насбирали. Только гнездо нашли да по клюшке выломали. А Танька той порой знай собирает, набрусила корзинку будто шуткой. Домой пошли, Винька меня и подговаривает: давай ягоды у ее отымем да съедим. Ежели мы пустые домой идем, так пусть и она не хвастает. Танька в рев. Винька хохочет филином, ягоды отнимает, а мне хоть и жалко Таньку, все равно — в грабеже участвую. Съели мы эти Танькины ягоды, не съели, больше в траве рассыпали, и до того мне ее жалко стало... Таньку-то. Она, помню, идет за нами, дистанция порядочная, идет да ручонкой слезы размазывает. А Винька дразнит ее. И вот, друг мой, до того мне жаль ее, что охота этому Вине в ухо треснуть. А как треснешь, ежели и сам в евонной компании? С этой поры Танька мне больше всего и запомни-

лась, а когда у бани подглядывал, это уж дело новое.

Ну, к той поре, когда мы бурлачить начали, Танька стала сама как ягода. Выросла за одно лето, откуда что и взялось. Коса густая, ниже пояса. Уши белые. Глаза у ее были, я тебе скажу,— не глаза, а два омутка, то синие, то черные, глядят куда-то сквозь тебя, и не поймешь, что думают, будто забыли чего, а вспомнить не могут. Ростиком была чуть пониже меня, походкой легонькая: глядишь и не знаешь, то ли Танька идет, то ли бегом бежит. До травки-муравки будто из милости ногами дотрагивается. И никогда назад не оглядывалась. Все у нее выходило само собой, неизвестно, когда петь-плясать научилась, когда ткать-вышивать, плести кружева. На белый свет будто вытаяла... Косить, бывало, пойдет либо суслоны жать, не идет — птахой летит, что с поля, что в поле. А песни эти дак у нее сами так и сыпались, ее будто не спрашивались, и каждая на своем месте. Бывало, на беседе нитку прядет... Да, это... Значит, пришел я из работы. На гулянку не иду, жду, когда матка рубаху сошьет. На второй день рубаха сметана, на третий пуговицы осталось пришить. Округ матки, как поп округ аналою... Вот, помню, успеньев день, пошел в гости к божату в Огарково. Иду, ног под собою не чую, только цветки тросткой сшибаю. До деревни не дошел, встал, прислушался. А как ветер-то дунет, так меня весельем-то деревенским и обдаст, чую: в Огаркове уже гуляют вовсю, гармонь играет, девки за гармоньей по улице идут, поют. Федуленок тоже с моим божатом гостился, знаю, что Танька уж тут, боюсь в гости идти. В деревню зашел задами, подошел к божатому взъезду. Руки-ноги будто отнялись, а сердце в грудине готово ребро выломать, вот стукает на весь белый свет.

Ну, смелости насобирал, захожу в избу. Там уж пляска идет. Смотрю — Танька тоже на кругу. Как глянул... Мать честная, умирать буду, тот момент вспомню! Плечи у нее в красной фате, сарафан ласковый. Идет по кругу, ноги в полусапожках; меня будто и не заметила. А божатушка уж ко мне бежит за стол усаживать, божат пиво из ендовы наливает. Застолье роем гудит, гармонья играет, бабы пляшут. Поздоровался, взял стакан с пивом. «С праздником,— говорю,— гости хозяйские». Пью, а сам чую, как Танька поет: «Веселее бы попела, кабы дроля поиграл. Терпеливый ягодиночка, завлек и не бывал». Эх!.. А играл-то Федуленок, ённый отец, худенько играл. Мне до того охота гармонью в руки, что не могу. А надо посидеть, гостей с хозяевами уважить. Ну, налили первую рюмку, дождался второй рядовой, а бабы пляшут кружком, все вместе, Танька...

Весь вечер я, как в огне, сам себя не помню, не помню, как на улицу с гармоньей ходили, как плясал — не помню. Она меня нет-нет да и обожгет глазами. Провалиться на этом месте, один этот момент и был за всю жизнь, больше такого и не бывало. Как погляжу на нее, будто меня ошпарит чем, ноги плясать просятся, а горло будто... хм.

Олеша вдруг замолк. Сивые брови нависли и потушили апрельскую синеву стариковских глаз, он сосредоточенно шаркал наждаком о топор. Я терпеливо ждал продолжения рассказа. Но старый плотник молчал, словно споткнувшись на чем-то, и лицо его было совершенно непроницаемо. Я кашлянул, шумно полез в карман за куревом. Но Олеша молчал. Вдруг он резво и озорно воткнул топор в бревно.

— Вот ты — парень грамотный.

Я пожал плечами.

— Скажи мне вот что...

— Что?

— Как делу быть? Иной раз думаешь, ладно сделал. Добром к человеку.

— Ну?

— А потом ты же и виноват. Как тут пословицу не вспомнишь: не делай людям добра — ругать не будут.

Я выразил недоверие к этой пословице. Но Олеша не слушал. Он глядел куда-то за горизонт, и я опять осторожно спросил:

— Ну так как...

— Что?

— Да тогда, в успеньев-то день...

— А-а, что... Дело-то, вишь, давнее. Ну, это... Божатка моя мне на сено постелила, а Винька Козонков пьяным притворился. Он тоже в этом дому объявился, поднесли ему, он и давай куражиться. Сунулся на повети — чую, спит. А девки под пологом вот форскают. Я лежу, думаю, идти к им под полог али нет? И боюсь, и смелости не хватает. «Девки,— кричу,— а что, я ежели к вам?» Оне мне шумят, вот, мол, у нас тут коромысло рябиновое. Я говорю: «Что мне коромысло, можете и огреть разок, только под полог пустите». Откуда что взялось. Я — к ним. Моя двоюродная была догадливая... Шмыгнула с повети... «Забыла,— говорит,— самовар закрыть, вон гроза поднимается». Шасть двоюродная в избу. И не идет. А весь дом спит, божат с божаткой в зимней избе, гости все кто где — кто в летней избе на лавках, кто на полати уволокся, а на повети одни мы с Танькой. Да еще Винька на сене храпит в обе ноздри. Я к Таньке, понимаешь, подсел,

коленки от страху трясутся. «Тань, а Тань?» — говорю, а сам рукой поверх одеяла-то. Молчит. «Вишь,— говорю,— мне без тебя не жизни. Давай будем гулять по-хорошему, на руках буду носить...» Да, взял ее за локоть,— молчит. А сам весь от страху дрожу, хуже всякой войны. Обнять только приноровился, а она мне: «Что ты,— говорит,— Олешка, не надо. Чуешь,— говорит,— не трогай меня. Уходи,— говорит,— стыд-то какой, вон двери скрипнули, чуешь, уходи...» Ох, дурак я, дурак, встал да ушел на улицу, там еще чья-то гармонья играла. Проплясался уж под утро, захожу на поветь-то, а там, слышу, Винька под пологом мою Таньку жамкает; чую, вот целуются... Я в избу, схватил графин, гляжу — графин-то пустой. А двоюродная моя корову собралась доить. «Чего,— говорит,— Олеша, прозевал-то? Эх ты, недопека!» Захохотала, дойник на руку — да на двор. Оглянулась в дверях-то да и говорит: «А мне Танька тебя велела найти. Только где тебя искать? Убежал на улицу, будто век не плясывал. Так и надо тебе, дураку!» Еще и язык показала двоюродная-то, дверями хлопнула. Тут гости запросыпались, зашевелились, а я, как неумный, с праздника убежал домой.

...Вскоре мы вырубили еще один ряд. Солнце, скатываясь на горизонт, светило спокойно и ярко; я снял шапку и впервые в этом году ощутил его слабое, но такое отрадное тепло.

— Что, припекает красавка-то?— улыбнулся Олеша.

Он тоже снял шапку, и его младенчески непорочная лысина забелела на солнце. Как раз в эту минуту издалека долетел до бани рокоток автомобиля. Мы подождали машину, не сговариваясь: дорога проходила в

пятнадцати метрах от бани. Олеша с любопытством глядел на приближающийся грузовик, стараясь узнать, кто, зачем и куда едут. Машина затормозила. Разбойная курносая харя, увенчанная ушастой шапкой, выглянула из кабины.

— Дедушко, а дедушко? — окликнул шофер.

— Что, милок? — охотно отозвался Олеша.

— А долго живешь! — Шофер оголил зубы, дверца хлопнула.

Машина, по-звериному рыкнув, покатила дальше. Я был взбешен таким юмором. Схватил голыш от каменки и запустил шоферу вдогон, но машина была далеко. А старик еще больше удивил меня. Он восхищенно глядел вслед машине и приговаривал, улыбаясь:

— Ну, пес, от молодец, сразу видно — нездешний.

Я ушел домой, не попрощавшись со стариком. А, наплевать мне на вас. Черт знает, что творится! Мне нет до вас дела! Весь остаток дня ходил злой, словно оставленный в деревне козел, когда все стадо до самой последней старой козы на пастбище, а он, этот козел, один на один с пустой и жаркой деревенькой.

— Наплевать! — вслух, по слогам повторял я и злился, сам не зная на что и на кого.

11

Впервые за это время настроение по-настоящему свихнулось. Я не стал даже ужинать. Залез на печь и, лежа в темноте, слушал кондовую тишину своего старого дома. Вскоре я разобрался в том, что злился на Олешу, злился за то, что тот ни капли не разозлился на остолопа-шофера. А когда я понял это, то разо-

злился еще больше, уже неизвестно на кого, и было как-то неловко, противно на душе. И когда Олеша пришел меня навестить, я вдруг ощутил, что давно когда-то испытывал такое же чувство неловкости, противной сердечной тошноты от самого себя, от всего окружающего.

Да, конечно. Со мной уже было что-то подобное. Давно-давно, когда я только что пошел в школу. Помнится, бабка налупила меня за то, что я катался по первому тонкому речному льду и провалился в воду. Она отвозила меня и турнула на печь, а я плакал не столько от боли, сколько от оскорбления. Лежал на печи без штанов и плакал. Позднее меня на печке пригрело, я разомлел и начал задремывать, но сопротивлялся и не хотел забывать обиду и, чтобы злость не исчезла, все вспоминал бабкины шлепки, оживляя затихавшую горечь.

Вечером меня позвали ужинать, и я не слез, мысленно объявил голодовку, но меня не стали особо уговаривать, и от этого обида на весь мир стала еще острее. Я лежал и думал, что никто меня не жалеет, представлял, как убегу из дома и как заблужусь где-нибудь в лесу, как меня будут искать всей деревней и как не найдут три дня и три ночи. Бабка же безжалостно разоблачала меня внизу: «Вишь, дьяволенок, лежит. Лежит и думает: я вас выучу, ни пить, ни есть не буду». Мне втайне от самого себя хотелось, чтобы еще раз позвали ужинать, но никто не звал, и я плакал, жалея себя и представляя, как меня будут искать в лесу. Помнится, я так и не слез с печки, пока не пришла с работы мать и не приласкала. Я слез, разревелся еще раз и медленно, долго успокаивался. Мир и

 все окружающее снова встали на свое обычное место,

но бабку я так и не смог простить до самой ее смерти.

Сейчас, вспомнив тот случай, я снова повеселел. Надел валенки, спрыгнул с печки. Оделся, сунул коромысло в скобу ворот и пошел на бригадное собрание, о котором еще днем проговорился бригадир.

Собрание бригадир проводил у себя на дому, а дом его маячил на другом конце поредевшей деревни, напоминая собою хутор и картинно дымя трубою. Я не торопясь, с каким-то холодком под левой лопаткой вышагивал по деревне. Было тихо, светло и чуть примораживало. В небе стояла круглолицая луна, от ее света ничто не могло спрятаться. Мерцали над деревней синие, будто обсосанные леденцы, звезды. Тишина стояла полнейшая.

Вдруг Авинеров пес, который сидел на дороге и жмурился, спокойно и мощно облаял меня. У поленницы, уже не интересуясь мною, он задержался на полсекунды, задумчиво поднял заднюю ногу. И удалился с чувством исполненного долга. Я знал, что пес отступился только благодаря моему внешнему равнодушию: среагируй как-либо на его возглас, он бы показал кузькину мать. Но его сиплого и жуткого «аув-аув!» было достаточно, чтобы сразу во всех домах и поветях, из-под всех крылечек и рундуков сказалась добрая дюжина самых разнообразных голосов. Они заливались вдохновенно и отовсюду, некоторые с искренним пафосом. Другие лаяли из чувства подражания, а третьи — сами не зная зачем, вероятно, просто от скуки жизни. Первым появился на пути колоритный субъект, получившийся от смешения легавой и какой-то декоративной собачки, имеющей чисто прикладное значение породы. Это был Олешин Сутрапьян, он взлаял разок и тут же притих. Сутрапьян убежал, но яви-

лась маленькая, тонконогая, принадлежавшая Евдокии Минутка. Я не был знаком с нею накоротке, и она так смело приступилась ко мне, что я поневоле попятился задом, а она, видя мою слабость, быстро наглела и вскоре цапнула за валенок. Агрессивность ее никак не соответствовала размерам тщедушного туловища. Дальше, благоразумно соблюдая безопасное расстояние, вовсю разорялся кривоногий бригадиров Каштан, у которого чувства менялись быстро и независимо от него. Вслед за Каштаном беспрерывно, с провизгом лаяла чья-то почти карманных размеров собачка, причем передняя ее часть извергала самую натуральную хулу, а задняя при помощи виляющего хвоста изображала преданную услужливость. Просто удивительно, как могло одно туловище одной собачки совмещать такие полярные чувства: перед изрыгал ярость, а зад юлил от умильного подобострастия и искренней готовности броситься за тебя в огонь и воду. «Ну, прохиндеи!» — я совсем растерялся, стоя посередь улицы.

— Что вы, лешие! Что вы, рогатые сотоны! — Евдокия, шедшая на собрание, выпустила меня из собачьего плена. — Вишь, вас развелось, как бисеру. Хоть бы волки разок прошли да поубивали вашего брата! Как собаки, ей-богу, как собаки, мужику и проходу нет!

По простоте душевной, а может, от привычки к животным Евдокия забыла даже, что речь идет действительно о собаках, и, обзывая собак собаками, окончательно наладила настроение. То, что она так по-братски назвала меня «мужиком», даже как-то ободрило, — опять чувствуя себя здешним, я с волнением сбил снег с валенок и вслед за Евдокией вошел в бригадирский дом.

 В избе было человек пятнадцать, не считая двух-

трех младенцев, самых свежих моих земляков. Периодами они давали о себе знать громким криком либо не менее громким ревом, который, впрочем, общими бабьими усилиями тотчас же пресекался.

Я не стал проходить вперед, а уселся на пороге в прихожей части бригадирской избы. В этой части скопились ходячие ребятишки, а рядом, на пороге, сидел кузнец Петя и курил. Изредка он шевелил кочергой в печке, потом снова садился на порог. Сюда же одна за другой собрались и собачки, но здесь они вели себя совсем не по-уличному. Минутка, к примеру, в помещении оказалась ласковым, безобидным существом.

Теперь можно было послушать, что говорят, но Петя-кузнец спросил, велик ли у меня отпуск. Я сказал и в свою очередь спросил, о чем собрание.

— Одне фразы! — Петя махнул рукой и спросил, ловлю ли я рыбу. Тем же громким шепотом я сказал, что рыбу не ловлю, и слегка огляделся.

Пивной котел, наполненный скотинной водой, чернел рядом, дальше лежал свернутый соломенный матрас, а вправо на топящейся лежанке сидела бригадирова бабка. Она то и дело гладила по белой головке свою маленькую правнучку и приговаривала:

— Танюшка-то у меня дак. Танюшка одна такая на свете.

Посидев и послушав, но, вероятно, ничего не поняв из-за глухоты, бабка опять гладила девочку по голове и приговаривала, какая у нее пригожая Танюшка.

Между тем там на свету выбирали президиум.

— Так кого? — в третий раз спрашивал бригадир собравшихся.

Но никто не внес ни одного предложения. Вдруг кузнец Петя прокричал прямо с порога:

— Козонкова в секлетари, а председатель сам будь!

Минутка заурчала от этого громкого возгласа, а в избе послышались голоса женщин:

— И ладно!

— Чего время тянуть?

— Добро и будет, чего еще.

— Все согласны? — спросил бригадир. Он стоял за своим столом, с которого еще не убран был самовар.— Давай, Авинер Павлович, занимай трибуну, вот тебе карандаш, записывай все реплики. Дак, товарищи, вопросов у нас три. Это мой отчет как депутата, второе — выборы конюха. И разное.

Я слегка выглянул за косяк. Бабы сидели около хозяйки дома, у которой тоже был младенец, и по очереди брали на руки то одного ребенка, то другого. Обстоятельно хвалили каждого и качали на руках, а ребятишки сучили ногами и розовыми губами пускали веселые пузыри. Тут же была и Анфея со своим приезжим сыном, который так заинтересовался рыжим котом, что почувствовал себя, видимо, в зоопарке и просил у матери булку, чтобы покормить животное. Сама Анфея пришла на собрание в туфлях и опять же в капроне. Ее новая черная юбка напрасно пыталась прикрыть толстое, похожее на Олешину лысину колено.

— Товарищи, за отчетный период...— Дальше пошли выражения вроде: «в силу необходимости», «на данное число», «в разрезе графика». После этого бригадир начал зачитывать цифры, но вдруг один из младенцев, а точнее, наследник докладчика, пустил такой зычный, непонятный вопль восторга, что заглушил

отца, и все с улыбками обернулись назад. Виновник заминки таращил ясные глазенки и, улыбаясь всем лицом, маршировал узловатыми ножонками на материнских коленях.

— Что, Митенька, ух ты, Митенька!— Бригадир погудел сыну вытянутыми губами. Однако тут же выпрямился.— На данный период, товарищи, неувязка у нас с продукцией молока, а именно: худая и низкая жирность.

— Я тебя остановлю на этом месте,— послышался голос кузнеца Пети.— У тебя чего собранье-то — от колхоза иль от сельпа?

— От парткома,— объяснил Авинер.

— Нет, Авинер Павлович, от сельсовета!— громко поправил бригадир, а бабы, воспользовавшись новой заминкой, заговорили про какую-то ржаную муку.

Бабка, сидя на лежанке, то и дело засыпала, но сразу же просыпалась от звука собственного храпа. Она вновь гладила по голове молчаливую правнучку:

— Танюшка-то у меня дак. Танюшка, золотой ребенок.

У дверей упало ведро.

— А ну вас!— Бригадир прихлопнул рукой свои тезисы.— Раз не слушаете, дак сами и проводите.

Но тут Авинер Козонков сделал короткое внушение насчет дисциплины:

— Ежели пришли, дак слушайте, процедурку не нарушайте!— И примирительно добавил:— Сами свое же время портим.

Петя-кузнец выставил за двери часть скопившихся в избе собачонок, говоря, что они «непошто и пришли и делать тут им нечего». Опять установился порядок,

лишь Митя — сын бригадира — все еще ворковал что-то на своем одному ему понятном языке.

— Митрей! Ой, Митрей!— тихо, в последний раз, как бы подводя итог перерыву, сказала Евдокия и пощекотала мальчишке пуп.— Вишь, кортик-то выставил. Скажи, Митя, кортик. Кортик девок портить.

И Евдокия снова стала серьезная.

— Переходим, товарищи, ко второму вопросу,— бригадир стриженную под полубокс голову расчесал адамовым гребнем.— Слово по ему имею тоже я, бригадир. Как вы, товарищи, члены второй бригады, знаете, что на данный момент наши кони и лошади остались без конюха. Вот и решайте сами. Потому что у прежнего конюха, у Евдокии, болезнь грыжи и работать запретила медицина.

Бригадир сел, и все притихли.

— Некого ставить-то,— глубоко вздохнул кто-то.

Бригадир подмигнул в мою сторону и с лукавой бодростью произнес.

— Я так думаю: давайте... Митя, Митенька... Давайте попросим Авинера Павловича. Человек толковый, семьей не обременен.

— Нет, Авинер Павлович не работник,— твердо сказал Козонков.

— Почему?— спросил бригадир.

— А потому, что здоровье не позволит. На базе нервной системы.

Евдокия сидела молча и опустив голову. Она теребила бахрому своего передника и то и дело вздыхала, стеснялась, что своей грыжей всем наделала канители, и искренне мучилась от этого.

— Ой, Авинер Павлович,— вкрадчиво и несмело заговорила одна из доярок,— вставай на должность-то.

Вон Олеша тоже худой здоровьем, а всю зиму на ферму выходил.

— Ты, Кузнецова, с Олешей меня не равняй! Не равняй! Олеша ядренее меня во много раз! — От волнения Авинер потрогал даже бумажки и переложил карандаш на другое место.

Кузнецова не сказала больше ни слова. Но тут вдруг очнулась Настасья и вступилась за своего старика, закричала неожиданно звонко:

— Да это где Олеша ядренее? Вишь, нашел какого ядреного! Старик вон еле бродит, вишь, какого Олешу ядреного выискал!

Поднялся шум и гвалт, все заговорили, каждый свое и не слушая соседа. Ребятишки заревели. Минутка залаяла, кузнец Петя восторженно крякнул на ухо:

— Ну, теперь пошли пазгать! Бабы вышли на арену борьбы, утороку не найти!

Шум и правда стоял такой, что ничего нельзя было понять. Бригадир кричал, что поставит Козонкова в конюхи «в бесспорном порядке», то есть насильно, Козонков же требовал конторских представителей и кричал, что бригадир не имеет права в бесспорном порядке. Настасья все шумела о том, что Олеша у нее худой и что у Авинера здоровье-то будет почище прежнего: он вон дрова пилит, так чурки ворочает не хуже любого медведя; Евдокия тоже говорила, только говорила про какой-то пропавший чересседельник; доярка Кузнецова шумела, что вторую неделю сама возит корма и что пусть хоть в тюрьму ее садят, а больше за сеном не поедет, мол, это она русским советским языком говорит, что не поедет. Жена бригадира успевала говорить про какую-то сельповскую шерсть и утешать плачущего ребенка. Радио почему-то вдруг запело жен-

ским нелепым басом. Оно пело о том, что «за окном то дождь, то снег и спать пора-а-а!». Минутка лаяла, сама не зная на кого. Во всем этом самым нелепым был, конечно, бас, которым женщина пела по радио девичью песенку. Слушая эту песенку, нельзя было не подумать про исполнительницу: «А наверно, девушка, у тебя и усы растут!»

12

Я вышел на улицу. Луна стала еще круглее и ярче, звезды же чуть посинели, и всюду мерцали снежные полотнища. Все окружающее казалось каким-то нездешним царством. Я был в совершенно непонятном состоянии, в голове образовалась путаница. Словно в женской шкатулке, которую потрясли, отчего все в ней перемешалось: тряпочки, кусочки воска, наперстки, мелки, монетки, иголки, марки, ножницы, квитанции и всякие баночки из-под вазелина.

Я долго стоял посреди улицы и разглядывал родные, но такие таинственные силуэты домов. Скрип шагов вывел меня из задумчивости. Оглянувшись, я увидел Анфею.

— Что, на природу любуетесь?— сказала она и слегка хохотнула, как бы одобряя это занятие.

— Да вот... На свежем воздухе...— Я не знал, что говорят в таких случаях.

Анфея послала мальчишку домой.

— Беги, вон видишь дом-то? Ворота открыты, там тебя бабушка разует, киселя даст.

Мальчишка побежал, подпрыгивая. Она обернулась и опять хохотнула:

— А ты, Костя, один-то не боишься ночевать?

— Да нет, не боюсь.

— А вот мне дак одной ни за что бы не ночевать. В эком-то большом доме.

Я кашлянул, принимая к сведению это заявление.

— Взял бы да хозяйку нашел,— как бы шутливо сказала она.— Хоть временную.

— Да нет уж... устарел.

— Ой-ой, старик!— Она чуть замешкалась.— Ну пока, до свиданьица... Заходи нас проведывать.

Она ушла, скрипя по снегу высокими каблуками и с каждым шагом игриво откидывая в сторону руку с зажатой варежкой. Я же вошел в свой дом и закрыл ворота на засов. Улегшись ночевать, подумал, что обычно все гениальные мысли приходят с некоторым запозданием: «Какого же черта ты не пригласил ее похозяйничать! Устарел! Один не боюсь! Тоже мне...» Я ворочался, кряхтел и вздыхал, пытаясь уснуть, и луна пекла прямо в голову. Фантазия все сильнее раскручивала свои жернова. «О, черт! Гнусно все-таки. А ты, братец, диплодок. И притом натуральный. Да, но кому от этого вред, если она сама...» И вдруг я с ужасом поставил жену на место этой женщины. «Ну разве она, Тонька-то, не такая же? Все они одинаковы,— мысленно кричал я,— дело лишь в подходящих условиях». Я бесился все больше и уже ненавидел, презирал свою жену.

— Евины дочери! Вертихвостки!— вслух ругался я и думал, как нелепо и горько устроено все в жизни.

Дремотная пелена не глушила этой горечи. Я засыпал, но во сне боль и ревность были еще острее. Опять просыпался, оказываясь лоб в лоб с желтой громадной луной.



«Нет, все в мире выходит не так, как ждешь, все по-другому...» Мне казалось, что мой старый дом тоже не спит, перемогая длинную лунную ночь, вспоминает события столетней давности и всем своим деревянным естеством сочувствует мне.

Смешно и нелепо... Так уж, видно, устроена жизнь, что чем глупее человек, тем он меньше страдает. И чем больше стремишься к ясности, тем больше разочарований. И, может быть, лучше ни до чего не докапываться? Жить счастливо обманутым? Да, но притворяться, что ли? Делать вид, что ничего не знаешь?

Мне вспомнилось, как в раннем детстве я любовался работой ласточек под карнизом. Они так весело, так ловко строили свои домики над окнами, гнезда лепились одно к другому, как соты. Я много дней подряд недоумевал, из чего сделаны гнезда. Я хотел потрогать домик руками, узнать, как он сделан: уж очень загадочным, интересным казалось все снизу. Я спросил у бабки, из чего сделаны гнезда. «Из грязи»,— сказала бабка. Это было до того грубо и непоэтично, что я был обижен, не поверил и до вечера ходил за бабкой следом, чтобы она помогла достать гнездо. И вот мы взяли из хмельника тонкий длинный шест. Бабка, ругаясь, достала шестом крайнее пустое гнездо и отколупнула его. Я бросился глядеть, схватил ласточкино строение и... чуть не запустил им в бабку. Гнездо действительно было слеплено из комочков грязи, скрепленных соломинками и птичьим пометом. И мне казалось тогда, что во всем виновата бабка...

13

В доме все еще тепло, даже утром, хотя мороз кое-где подрисовал колючих узорчиков на стеклах наружных рам. У меня понемногу проходит ночное смятение. С удовольствием щепаю лучину, запрыгиваю на печь, чтобы открыть задвижку. Насвистывая, чищу картошку. Ее можно сварить просто так или натушить с консервами, и мне приятно, что можно решить это, пока чистишь. Приятно и от того, что после завтрака я пойду ремонтировать баню, а то можно и не ходить на баню, а пойти в лес по узкому зимнику и там наломать сосновых лапок на помело, либо просто поглядеть заячьи следы, либо послушать синиц, жуя холодную льдинку наста...

Я истопил печь, поставил подальше от загнеты картофель с консервами. Закурил.

Хлопок ворот вывел меня из счастливой созерцательности. По стуку батога я догадался, что сейчас меня навестит Авинер Козонков.

Старик вошел без предупреждения, как принято заходить в деревнях. Поздоровался и сел, не снимая бесцветной своей шапки, завернул цигарочку. От чаю он не отказался, и я налил ему прямо из термоса.

— От электричества греется? — Козонков постучал пальцем по термосу.

— Нет, просто так.

— А этот от электричества? — Козонков показал на говорящий транзистор.

— Этот от электричества.

— До чего наука дошла.

 Козонков покрутил колесико. Послышался позыв-

ной «Маяка». Мы помолчали, слушая. В избе слегка пахло угаром, и я полез открыть трубу.

— А вот меня дак никакой угар не берет. С малолетства,— сказал Авинер.— Иной только нюхнет — и угорел. А я этого угару не признаю. Голова у меня крепкая.

— Крепкая?

— Это точно, голова у меня крепкая. Не худая голова, жаловаться не могу. Мне, бывало, еще Табаков говаривал...

— Какой Табаков?

— А уполномоченный финотдела, из РИКа. Мы с им с восемнадцатого году во всем заодно, а я у него, можно сказать, был правая рука, как приедет в деревню, так меня сразу требовал. Бывало, против религии наступленье вели — кого на колокольню колокола спехивать? Меня. Никто, помню, не осмеливался колокол спе́хнуть, а я полез. Полез и залез. Да встал на самый край, да еще и маленькую нужду оттуда справил, с колокольни-то.

— Нет, серьезно?

— Ну! А еще до этого, когда группки бедноты создавали, дак меня Табаков первого выдвинул. Собранье было, помню, в бывшей просвирной, встает Табаков. Так и так, говорит, надо нам, граждане, создать в вашей деревне группку бедноты, чтобы ваших кулаков вынести на чистую воду и открыть в вашей деревне классовую войну. Дело не шуточное. Кого в группку? Предлагаю, говорит, граждане, товарища Козонкова. А еще кого? Мы с им до того еще список составили, я встаю и зачитываю: надо Сеньку Пичугина — у его, кроме горба за плечами, ничего нету. Надо Катюшку Бляхину, чтобы в женсовет, Катюшка на язык

востра и сроду в няньках жила. Выбрали еще Колю — тихонького, этот был весь бедный. С этого дня я с товарищем Табаковым был друг и помощник, он меня всегда выручал, а потом его в область перевели, теперь вот слышу, на персональной живет.

Козонков помолчал.

— Как думаешь, а мне ежели документы послать? Дадут персональную? У меня вот и документы все собраны.

Я сказал, что не знаю, надо посмотреть документы. Козонков достал из-за пазухи какую-то тетрадь или блокнот, сложенный и перевязанный льняной бечевкой. Тетрадь была когда-то предназначена под девичий альбом, на ней было так и написано: «Альбом». Ниже был нарисован какой-то нездешний цветок с лепестками, раскрашенными в разные цвета, и две птички носом к носу, с лапками, похожими на крестики. На первой странице опять был нарисован розан. Стихи со словами: «Бери от жизни все, что можешь» — помещались на второй странице, на третьей же было написано: «Песня». И дальше слова про какого-то красавца Андрея, который сперва водил почему-то овечьи стада, а под конец оказался укротителем:

...И понравился ей укротитель зверей,
Чернобровый красавец Андрюша.

Пять или шесть «песен» я насчитал в альбоме Анфеи. После них пошли частушки, впрочем очень душевные и яркие, и, наконец, появились какие-то записи, сделанные рукой Козонкова: «Слушали о присвоении колхозных дровней и о плате за случку единоличных коров с племенным колхозным быком по кличке Микстур («Почему, собственно, Микстур?» — подума-

лось мне, но размышлять было некогда). «Ряд несознательных личностей...»; «К возке навоза приступлено...»

Записи мелькали одна за другой: «Постановили, дезертиров лесного фронта объявить кулаками и ходатайствовать перед вышестоящими о наложении дополнительных санкций. Поручить бригадирам взыскать с них по пятьдесят рублей безвозвратным авансом и отнять выданные колхозом кожаные сапоги. Послать на сплав вторительно».

Я вынул из «Альбома» пачку пожухлых, на разномастной бумаге документов. Была здесь бумага с типографским заголовком: «Служебная записка». Запись на ней, сделанная наспех, карандашом, предлагала «активисту тов. Козонкову немедленно выявить несдатчиков сырых кож». В конце стояла красивая витиеватая подпись.

К этой записке были пришиты нитками удостоверение на члена бригады содействия милиции, справка об освобождении от сельхозналога и культсбора, датированная тридцать вторым годом, а также вызов на военные сборы. Кроме всего этого, имелась бумажка со штампом районной амбулатории, где говорилось, что «гр-н Козонков А. П. 1895 года рождения действительно прошел амбулаторное обследование и нуждается в освобождении от тяжелых работ в связи с вывихом левой ноги».

Я внимательно прочитал все документы, а Козонков достал из кармана собранные отдельно вырезки из газет. Их оказалось очень много. Некоторые были помечены еще тридцать шестым годом, подписанные то «селькор», то псевдонимом «Сергей Зоркий», а то и просто «А. Козонков».

— Нет, Авинер Павлович, по этим документам вряд ли дадут персональную.

— А почему? Я, понимаешь, считай, с восемнадцатого года на руководящих работах. В группке бедноты был, секретарем в сельсовете был. Бригадиром сколько раз выбирали, два года зав. мэтээф работал. Потом в сельпе всю войну и займы, понимаешь, распространял не хуже других.

— Ну, не знаю... Пошли заявление в район.

— Да я уже писал в район-то.

— Ну и что?

— Затерли. Кругом, понимаешь, одна плутня.

Мы опять помолчали. Авинер Павлович осторожно собрал бумаги, уложил в «Альбом» и перевязал веревочкой.

— Все, понимаешь, бюрократство одно,— продолжал он.— А ведь ежели по правде рассудить, мне разве двадцать рублей положено? Ведь, бывало, и на рыск жизни идешь, в части руководства ни с чем не считался. Спроси и сейчас, подтвердит любая душа населения, которая пожилая.

— Что, Авинер Павлович, у тебя и наган был?— Я налил еще чаю и обул валенки.

14

— Наган у меня был. Семизарядный, огнестрельный. Системы «английский бульдог». Лично Табаков под расписку выдал. Говорит, ежели в лесу аль ночью да трезвый, езди с заряженным. А когда на праздник едешь, так патроны-то вынимай, оставляй дома. А ведь

 что, дружочек? Иной раз выпьешь, контроль над собой

потеряешь. Так я, бывало, ежели в гости еду, патроны-то вынимал да клал матке за божницу.

Один раз — на зимнего Николу дело — по всей волости пивной праздник. Пришел в гости в Огарково к Акиму. У его самогонка была нагонена, две четверти, пива шесть ведер наварил. А наш Федуленок в Огаркове гостил в трех домах, ну и в том числе у Акимова. Сел я за стол, Аким стопку наливает мне первому. Федуленок и говорит: «Что это ты, Аким Остафьевич, вроде у тебя за столом есть и постарше Козонкова, что это рядовую-то нонче с малолетков подаешь? Раньше ты вроде бы не так подавал. Ежели,— говорит,— я у тебя гость не любой, так могу и уйти, освободить избу». Ну, Аким промолчал, ничего не сказал, а когда до второй рядовой дошло дело, вижу, наливает первому Федуленку. Меня, братец ты мой, так и подкинуло. На лавке-то. «Ну,— говорю,— Аким, не гостил я у тебя и гостить не буду!» Сам встал да к порогу. Аким с табуретки вскочил, держит меня, обратно за стол садит, а Федуленок и говорит: «Чего это ты, Аким Остафьевич, стелешься перед ним? Аль ты ему задолжал да не отдал вовремя? Пусть идет, коли не сидится ему». Я тут, конечно, не стерпел, на взводе уж был. До этого в двух домах гостил, в голове-то уже пошумливало. Схватил этого Федуленка за жилетку, через стол да как дерну, пуговицы так и посыпались. Бабы с девками завизжали, шум, крик, а я Федуленка из-за стола волоку. Тут Аким рассердился, оттащил меня, отцепил от жилетки-то, да и говорит: «Вот что, Винька, ежели пришел ко мне в гости, так гости по-хорошему, панику не наводи, в моем дому сроду никто не бузил. А ежели будешь варзать, так вот тебе бог, вот порог!» Федуленкова родня тоже из-за стола на меня

встает. Я вижу, что попал в непромокаемую, раз — наган из кармана. «А ну,— говорю,— подходи, кому жизнь надоела. Пришибу, не сходя с этого места!» Только так крикнул, а мне Сенька — Федуленков племянник — как даст ногой по руке, наган-то полетел, а я думаю: ладно, я сейчас временно убегу, а потом посчитаемся.

Кинули мне наган с крылечка-то, воротами хлоп — и на запор. Я встал на ноги-то, ну, думаю, я вам покажу! Поплачете вы у меня кровавой слезой, и Федуленок и Сенька! Акиму тоже припомню, за мной не пропадет. А что ж ты, братец, думаешь, все после в ногах катались, до единого. «Авинер Павлович, прости, пожалуйста!»; «Авинер Павлович, войди в положенье!». Вишь, думаю, тут так и Авинер Павлович, а тогда Винька был да еще и вот бог, вот порог. Когда колхоз учредили, Федуленок шапку снял, ко мне в ноги кинулся: «Ребята, примите в колхоз, не губите на старости лет!» А я говорю: «Надо еще подумать, принимать ли тебя в колхоз». На совещание ушли. Говорю Табакову, что Федуленка принимать нельзя по классовым признакам: у него две коровы, два самовара. Дом двоежилой. Остался в единоличниках этот Федуленок. И положили ему одного лесу вывезти сто двадцать кубометров, да хлеба сколько сдать, да деньгами, да молока, да сена. Тут Федуленок и заверещал.

Козонков отказался от «Шипки», закурил махорку.

— А ежели в область написать?

— Что? — Я очнулся и долго не мог понять, о чем идет речь.

— Да насчет пенсии-то.

— Можно и в область.

 — Все хочу сам съездить да похлопотать, только

собраться никак не могу. Да и ноги стали худые, совсем отказали, ноги-то. А соберусь. Ты-то там на какой улице живешь? Не у вокзала? Дал бы мне адрес-то, может, приеду, дак у тебя и ночую.

— Пожалуйста, в любое время.

Я взял у него «Альбом» и записал свой городской адрес, записал около того места, где говорилось, что «слушали о плате за случку единоличных коров с колхозным быком и постановили платить за каждую случку по шесть рублей деньгами либо по десять трудодней трудоднями».

Козонков снова тщательно завязал «Альбом» веревочкой и ушел. Стук его батога становился все тише, ворота хлопнули. А я еще долго сидел у окна и глядел на тихую снежную улицу, на тихие редкие дома. Смеркалось.

Дом Федуленка, где была когда-то контора колхоза, глядел пустыми, без рам, окошками. Изрешеченная ружейной дробью воротница подвальчика с замочной скважиной в виде бубнового туза висела и до сих пор на одной петле. На князьке сидела и мерзла нахохленная ворона, видимо не зная, что теперь делать и куда лететь. По всему было видно, что ей ничего не хотелось делать.

15

Дни были все еще не очень долги, хотя подходил к концу мой сиреневый отпускной март. Но солнышко уже вытапливало золотую капель, которая еще с вечера капля за каплей напаивала на застрехах ледяные сосули.

Каплю воды не успевало сорвать ветром, и она за-

мерзала, потом катились новые снеговые слезинки и, не успевая упасть, тоже замерзали, и сосуля росла сама по себе, теперь уже от собственного холода.

Баня все еще не была готова. Олеша работал на совесть и потому медленно. Где-то на дальних подступах ко мне подкрадывалась тоска холостяцкой жизни. Однажды после самовара я по-турецки сидел на лавке и никак не мог решиться вымыть посуду. Глядел, как вырастает за окном сосуля.

Странно, чем больше я убеждался, что посуду все равно мыть придется, причем чем скорее, тем лучше, тем больше не хотелось ее мыть. Все-таки надо было что-то предпринимать. Я встал, оделся и настроился идти к Олеше, а когда принял это решение, то сразу стало как-то легче...

У самых ворот Олешина дома стояли и торчали оглоблями персональные Олешины дровни. Два воробья, видимо осмысливши, что зиму они почти одолели и что дело идет к теплу, весело подпрыгивали у крылечка. Они с недовольным чириканьем слетели на изгородь и начали дрыгать не очень опрятными хвостишками. Мол, согнал с места, да еще и не уходит. Но мы-то знаем, что сейчас уберешься. Мне подумалось, что, живи воробьи в воде, они были бы ершами, и наоборот, ерши, называемые в последнее время в рыбацкой среде на китайский манер,— это и есть те же воробьи, только рыбы, а больше ничем от воробьев и не отличаются. До чего не додумаешься от безделья! Я почувствовал себя ротозеем и ступил в Олешины сени.

— Здравствуйте!

— Проходите да хвастайте.— Настасья обмахнула лавку домотканым передником.

Сутрапьян, видимо забыв прежнюю дружбу, встретил меня весьма негостеприимно. Настасья тем же передником загнала его под лавку.

— Сиди и не крякай! Вишь, какой крикун, весь в Козонкова.

Такое утверждение несколько озадачило. Я спросил, почему в Козонкова.

— Да ведь как, от ихнего кобеля-то,— сказала Настасья.

Затопляя маленькую печку, она подробно объяснила происхождение Сутрапьяна. С Настасьиных слов я узнал, что свою Минутку Евдокия и конфетой кормила, и в сундук запирала, уходя на конюшню. Но все равно не могла углядеть, и тонконогая шельма изловчилась-таки, и вот двоих щенят унесли в Огарково, а третьего обещался взять кузнец Петя. Однако Петя, увидев щененка, отказался в последний момент, говоря, что такого занюханного ему и за так не надо, что он его и не только не возьмет, но и сам даст придачи, чтобы не брать. Евдокия же, не зная, что делать, предложила щенка ей, Настасье, а Настасья взяла из жалости и теперь как только увидит козонковского кобеля, так и плюется и ругает его прохвостом.

— И здря,— сказал Олеша, сучивший в это время дратву.

— Чего здря?— обернулась к нему жена.

— А то и здря, что Авинеров кобель тут сбоку припеку, он совсем ни при чем. Ты человека не вводи в заблуждение. Эта Минутка с бригадировым псом путалась. Авинеров кобель только поприлаживался. Будет он заниматься с такой пуговицей.

— Не ври, ради Христа, не ври! Бригадирова кобеля и так все изобижают.

Тут начался спор. Олеша доказывал свое, а Настасья свое, и очень громко, поскольку была глуховата. Виновник конфликта лишь преданно моргал и глядел то на одного, то на другого. Вероятно, Олеше вскоре надоело или женины аргументы оказались более основательными, но он миролюбиво отмахнулся:

— А ну тебя. Бес их разберет. Их целая эскадрилья за ей бегала.

— Чего?

— Ладно, ничего. Проехало,— буркнул Олеша и добавил громко:— Свари рыбы-то!

— Да рыба-то, старик, вся.

— Вари всю.

Настасья, прихрамывая, ушла в кухню, сняла с гвоздика гирлянду сушеных маслят, по-здешнему — обабков.

Я спросил, что у нее с ногой.

— Ох, я полоротая!— засмеялась бабка.— Лазала, милой, за картошкой, да в подполье и хряснулась. Другой день хромая хожу. В малолетстве столько раз с печи шмякалась, и хоть бы чего. А теперь, вишь, косточки-то стали стамые, ушибливые.

— Ой, старбень,— добродушно заметил Олеша, воткнул шило в паз и пошел за печь к умывальнику.

Грибной суп уже закипал в чугунке. Я разглядывал многочисленные фотокарточки в деревянных рамках, украшенных фольгой от чайной упаковки.

Почти все снимки так или иначе связаны были с Густей — единственной дочерью Олеши и Настасьи. Я ее хорошо помнил, помнил с тех пор, когда, будучи еще мокроносым, ходил на гулянки. Густя, приезжая с лесозаготовок, все время плясала с Козонковой Анфе-

 ей, они очень стройно и слаженно пели частушки на

каждый житейский случай. Сразу после войны дороги подружек разошлись: Анфея уехала в Архангельск, а Густя тоже куда-то исчезла.

Разглядывая снимки, я увидел относительно нестарую фотографию Анфеи, воткнутую поверх стекла. Анфея сфотографировалась с серьгами и вся барашковая от свежих кудрей, словно каракуль. Левая ее рука (с часами) держала букет. На другой стороне снимка я прочитал автограф Анфеи: «Смотри на мертвые черты лица и вспоминай живую. Густе от Нелли. Снимок сделан в возрасте 30-ти лет».

Вот тебе раз! Оказывается, Анфея давно никакая и не Анфея, а Нелли! А я-то, дурак, сколько раз называл ее Анфеей. Правда, к ее чести, она не обижалась и не поправляла, а может, дома, в деревне, прежнее имя и для нее самой звучало нормально.

В следующей раме красовались открытки с не очень известной киноактрисой и с байкальским пейзажем, а между ними помещался пожелтевший дагерротип, изображавший молодую чету. Он, в хромовых сапогах и в косоворотке с поясом, в картузе и с красивыми черными усами, стоял, трогательно положив руку на ее плечо, глядя серьезно, ласково и как-то застенчиво, грустно. Она же, красивая и пышногрудая, в фате-кашемировке, в длинном платье с буфами, в высоких со множеством пуговок полусапожках, сидела на ампирном стуле с платочком в руках и глядела бесхитростно, но в то же время с кроткой суровостью.

Поистине было трудно узнать в этой чете Олешу с Настасьей. В той же рамке помещалась фотография Густи и густобрового, явно кавказского молодца: парень был достойный, но сидели они до того неестественно, что так и хотелось поморщиться. Видно было,

что перед тем, как снимать молодых, фотограф силой, бесцеремонно пригнул их головы друг к дружке, сказал «спокойно» и уж только тогда щелкнул затвором. Ничего себе спокойно! Они сидели головами впритык, с изогнутыми шеями, а им еще приказано было улыбаться. На другом снимке тот же парень был один и выглядел куда симпатичнее, в солдатской блинчатой пилотке, в одной майке, из-под которой даже на фотографии курчавилась богатая смоляная растительность. Дальше, как я ни глядел, но кавказского парня не увидел, а увидел другого, тоже солдата, вернее, сержанта, сперва в мундире, а потом без, рядом с Густей и врозь.

— А этот кто?

— Этот тоже варяга,— хмуро сказал Олеша.— Из-под Мурманска.

Я вздохнул, но меня несколько развлекло то обстоятельство, что Олеша делил зятьев на «своих» и «варягов», не столько по национальному признаку, сколько по признаку дальности расстояний.

Тем временем суп у Настасьи сварился, она постелила на стол скатерть. Олеша нарезал сельповского хлеба. Я не стал выкамариваться и, не дожидаясь второго приглашения, сел за стол. Уж больно вкусно пахло грибным наваром, да и время было как раз обеденное. К тому же, питаемое всухомятку, все мое нутро давно жаждало супа.

— Ну-ко, солите, ежели, сами,— сказала Настасья и, перекрестясь, взяла ложку.

Вдруг Сутрапьян с лаем вылетел из-под лавки, потому что ворота скрипнули. В дверях показалась Евдокия, левой рукой она то и дело терла глаза, а правой держала письмо.

— Вот, девушка, почтальонка-то подала, говорит, отдай.

— Да чего с глазом-то?

— Ой, не говори, солому трясла, да мусорина с ветром и залетела. Ради Христа, вынь, не знаю, чего и делать!

Настасья считалась в деревне не то чтобы полной ворожеей, но специалистом. Она останавливала кровь, заговаривала зубную боль — причем зачастую успешно, знала толк в болезнях животных, чирьи же сводила с любого места, и все это бесплатно, за одно спасибо. Вот только грыжи были ей не под силу. Мастерица была она и доставать мусоринки из глаз — языком: даже ячменная ость — вещь самая опасная для глаза — не могла устоять перед Настасьиным мастерством.

— Ну-ко! Садись!

Настасья усадила Евдокию на пол, сама села рядом, ногами в противоположную сторону. Потом взяла руками голову Евдокии и, зажмурившись, приступила к операции.

Олеша без остановки хлебал суп. Сутрапьян, как, впрочем, и я, с любопытством и сочувствием глядел на старух.

— Ты не вертись, не вертись, ведь я эдак не нащупаю!— сказала Настасья, прежде чем сделать вторую попытку.

— Да ведь как, девушка, не вертись. Экой-то толстущий под веко заворотила,— смеялась Евдокия.

Олеша недовольно покосился на них:

— Открыли поликлинику. Не дадут пообедать толком.

С третьей попытки Настасья обнаружила мусоринку, с четвертой вытащила ее на кончике языка. Евдо-

кия, мигая, облегченно села на лавку. Настасья взяла ложку.

После грибного супа на столе появилась пшенная каша, потом простокваша.

— Ну, теперь, правик до вечера,— сказал Олеша, распечатывая письмо.— Ну-ко, почитай, ты пограмотнее.

Я взял письмо и прочитал вслух, расставляя мысленно запятые по своему усмотрению:

«Добрый день, здравствуйте, тятя и мама. Пишу вам свой поклон за себя и за своего мужа Николая, а также кланяются внучата Толик и Шурик. Как вам и сообщаю, что Шурик родился у нас здоровый, уже делает ладушки, обличьем больше в отца, только нос бабушкин. Тятя, что это от вас нету никакого письма, ждем второй месяц, послали мы вам посылку, напишите, дошла ли посылка. Тятя, у нас все благополучно, Николай на старой должности, а я с работы ушла. Шурика оставить не с кем. И прошу убедительно, не приедешь ли ты, мама, хоть бы на пока, а то работу бросать неохота, а Шурика не с кем оставить. Комнату нам дали хорошую, есть сарайка и огород, весной посадим; так что пусть бы мама приехала, я бы пошла и работать на прежнее место, в столовую. В остальном все пока живы и здоровы, передайте привет всей нашей деревне, а именно: Козонковым, Евдокии, бригадиру Ивану, Пете-кузнецу и всем, всем. Вчера ночью привиделось, что кошу сено на Прониной пустоши. Жду письма с нетерпеньем, дайте ответ сразу. Остаюсь ваша дочь с семейством... Густя».

Олеша сидел, облокотясь на колени и глядя вниз. Настасья слушала, положив костистые руки на колени, и Евдокия утирала глаза кончиком платка.

— Ехать-то уж больно далеко,— сочувственно заметила Евдокия и вздохнула, собираясь уходить.

Я вышел вместе с нею, предоставляя старикам самим решить судьбу Шурика, который делает уже ладушки и похож больше на отца, чем на мать.

16

На улице Евдокия взяла меня за локоть:

— Иди-ко, чего скажу-то...— И с видом человека, знающего то, что никому, кроме нас двоих, знать не положено, добавила:— Надо бы, батюшко, радиво наладить, у меня в избе радиво заглохло. Приди-ко вечером-то, приди.

В радиотехнике я не был специалистом. Но знал, что, по понятиям Евдокии, инженер есть инженер и потому должен уметь все. Я пообещал прийти, и Евдокия, довольная, но с тем же конспиративным видом пошла на конюшню. «Почему же вечером?— мелькнуло у меня в голове.— Днем же лучше ремонтировать проводку».

Не зная, что делать до вечера, я пошел к своей бане. Надо же! Баня, оказывается, была почти готова. Два нижних ряда заменены, полки сложены вновь, и окошечко вставлено. Олеша тюкался здесь ежедневно, и потихоньку дело двигалось. Все было сделано на совесть, даже задвижка вытяжной трубы вытесана из новой дощечки. Оставалось только сложить каменку.

Я решил тут же начать складывать каменку. Отсортировал кирпичи и камни, очистил от золы кирпичный и еще крепкий под, выпрямил железяки, на которых держался свод каменки. Но пришедший через полчаса Олеша вежливо забраковал мою работу:

— Поперечины новые надо, под тоже лучше переклasть.

Олеша был так предусмотрителен, что принес из дому новые железяки для поперечин и ведро глины. Видя взыгравшую вдруг мою трудовую активность, он ни словом не обмолвился о ее некотором запоздании, и мы принялись за работу. Разломали старый под и в три кирпича положили новый, без перекура сложили кирпичные стенки, и только тут я спросил, что решили они с Настасьей насчет поездки.

— Да что решили, все без нас решено,— Олеша чихнул.— Придется ехать. Хоть временно.

— Ну, а ты-то как будешь один? С коровой, с хозяйством?

— А чего. Хозяйство невелико. Я-то что, старуху мне жалко. Разве дело — на старости лет ехать невесть куда. Нигде не бывала дальше сельсовета.

— Вот и пусть поглядит.

Старик как бы не слышал этого «пусть поглядит». Выбирая кирпич получше, прищурился:

— Чужая сторона, она и есть чужая. Меня, бывало, направили на трудгужповинность...

— Что, что?

— Все это же,— сказал Олеша.— Дороги строить. Лесозаготовка — колхозник иди, сплав — колхозник, пожар в лесном госфонде — тоже колхозник. Это теперь везде кадра пошла, а тогда одни колхозники. Бывало, на лесопункте на бараках плакаты висят: «Товарищи колхозники, дадим больше леса, обеспечим промышленность!» Полколхоза новые рукавицы шьет. Я, конечно, понимаю, без лесу нельзя. Копейка тоже государству нужна, заграница за каждую елку платила золотом. Только ежели лес так лес, а земля так земля.

Уж чего-нибудь одно бы. Мы и нарубим, и по воде сплавим — шут с ним. Хоть и за так работали, денег платили — на те же рукавицы не хватит. А ведь после сплава надо еще в колхозе хлеб посеять, иначе для чего мы и колхозники. Вот сплав сделаешь, а посеешь только на Николу, на четыре недели позже нужного. Что толку? Посеем кое-как, измолотим того хуже, а год отчетный в лоб чекнет. Первая заповедь — государству сдай, вторая — засыпь семена, третья — обеспечь всякие фонды. Колхознику-то уж что достанется. Иной раз и совсем ничего. Помню, когда первый раз в колхоз вступали. Куриц и тех собрали в одно место, овец, одне коты по домам остались. Все свалили в одну кучу, дерьмо и толокно. Корову сдал, кобылу сгонил. Шесть овец в общее гумно, да куриц с десяток было. Вдруг — опять все по-прежнему, после статьи-то, колхоз, значит, распустили. Помню, гумно-то с овцами открыли, все овцы в разные стороны разбежались по своим домам. Федуленок и говорит: «Это оне от головокруженья». Ну, и пошел, сердечный, в сельсовет, а там ему индивидуальные листы вручили, недолго и думали. «Ты,— говорят,— кулацкую агитацию разводишь».— «Ребята,— говорит,— простите, ради Христа, сам не знаю, как с языка сорвалось». Что ты! А эти листы и за шесть годов не выплатить, не то что за год. Уж он и в Москву писал. А письмо на край послали, край на район, а район на сельсовет. На кого жаловался, к тем и жалоба попала. Дом с молотка, скотину, юбки там, чугунки... Помню, пришли описывать, меня Табаков понятым назначил. Винька Козонков по дому ходит, глядит, чтобы чего не спрятали либо суседям не перетащили. Козырем ходит. В дому рев стоит, бабы с девками причитают. Вижу, одна Танька не плачет, стоит

у шкапа белее бумаги, стоит она, голубушка, а у меня и в глазах туман. Тут я вспомнил опять, как мы с Винькой у ее ягоды отняли. А Федуленок сидел-сидел и — бух Табакову в ноги. Сам плачет. Табаков ему говорит: поздно теперь переиначивать, дело в район отправлено. «Кабы ты,— говорит,— в Москву не жаловался да не кляузничал, может,— говорит,— мы бы и сняли с тебя позорное кулацкое званье». Я сидел, сидел, а потом меня и начало трясти. Не буду, говорю, акт подписывать. Встал да за скобу, да домой, да... Потом и это мне Козонков с Табаковым припомнили. На другой день Федуленок поехал со всем семейством, в чем были — в том и поехали. Вижу, Федуленок с народом прощается, бабы плачут все поголовно. Принесли им кто пирог, кто горбушку хлеба, кто пяток яиц. Милиционер торопит, прощаться не дает. А Танька ко мне при всем народе подошла. Да как заплачет... Танька-то... Увезли Федуленково семейство в Печору, с того дня ни слуху ни духу.

— Что, и письма не бывало?

— Было два или три, первое время. Федуленок у моего отца про дом спрашивал да про народ, кто где. А после шабаш. Да мне уж после и не до Федуленка стало: отец умер, пришлось жениться, а тут еще и меня начали прижимать, такое пошло собачество... Из лесозаготовок не вылезал. Помню, матка у меня все корову жалела, ходила во двор, в поскотину. Придет, да и ревит, Пеструху гладит. Я уж ей и запрещал, все без толку. Как праздник, так и пойдет корову проведывать. Один раз Козонков увидел ее у коровы и говорит, чтобы рев прекратила. «Будешь,— говорит,— еще реветь, мы и тебя в Печору сошлем». Я и не стерпел в тот раз: «Тебя бы,— говорю,— надо в Печору-то, чтобы

не варзал». Вишь, старуху Печорой стращает. «Ты,— говорю,— вон пьешь, по семь календарных дней не просыхаешь, а зябь у тебя в бригаде не пахана: ведь тебе надо рогожное знамя вручить, до чего ты бригаду довел». После этого и началось, раз — на меня двойной налог. Приписали кулацкую агитацию. Чего только не напримазывали: и что жена колдунья, и что живу в опушенном дому. Призвали один раз в контору, Табаков говорит: «Вот, гражданин Смолин, поезжай в лес. Вывезешь сто пятьдесят кубометров, снимем с тебя культналог и повышенное задание. Даем тебе возможность исправиться перед пролетарским государством». Я говорю: «Вроде бы, ребята, исправляться-то мне не в чем, ни в чем я не виноват перед вами. Работаю не хуже других. Сами же премию за весенний сев дали: вот,— говорю,— и пинжак выданный на плечах. Про Козонкова чего и сказал, так правда. А ежели баба моя вереда[1] у людей лечит, так я в этом не виноват».— «Нет,— говорят,— виноват». Что делать? Насушил сухарей да и поехал хлысты возить. А лошадь дали жеребую. Недоглядел один раз, дровни за пенек зацепили. Натужились мы оба с кобылой, воз-то сдвинули. Только я с пупа сорвал, а кобыла того же дня сделала выкидыш. Мне за это пятьдесят трудодней штрафу, да еще говорят, что это я с цели сделал, на вред колхозу. Не жаль трудодней, обидно сердцу.

Уж за меня и начальник лесопункта заступался, план-то я выполнил хорошо, ничего не берут в толк. Приехал домой. А меня опять — теперь уж дорогу строить на трудгужповинность. Поскотиной ходил, березки считал. В поле на каждом камне посидишь хуже

[1] Веред — чирей, болячка.

любой бабы. Думаю, хоть бы недельку дома пожить, укроти, господи, командерское сердце! Ночь ночевал — Козонков в ворота. «Ну?» Все «ну» да «ну», тпрукнуть некому. Поехал по трудгужповинности, работал весь сезон, все время переходящий красный кисет за мной был. Красный кисет с табаком выдавали, кто хорошо работал. Я и думаю, на производстве хоть знают сорт людей, видят: ежели ты работаешь, так и ценят тебя. Не буду, думаю умом-то, дома жить, уеду на производство. Пошел, помню, в сельсовет за справкой на предмет личности, меня уж звали плотником в одно место, договор заключили. Так и так, хочу из колхоза на производство, вот договор. Мне Табаков и говорит: «Зачем тебе документы, ехать куда-то. Ведь только там хорошо, где нас нет». Вот-вот, думаю, я хочу туда, где вас нет...

— Дали?

Олеша промолчал, ничего не сказал. Он подбирал валун половчее, перебирал камни, но не находил подходящего.

— Вот, парень, этот камень в каменку не годится. Это синий камень. Один положишь в каменку и все дело испортишь. Синий камень — угарный, в каменку не годится.

Он выкинул закопченный валун на улицу, определив его по каким-то неизвестным приметам. Я опять повторил вопрос, но Олеша опять не ответил.

— Ладно, что вчерне говорено, то можно похерить,— сказал он.— Забудь, что я тебе тут наплел.

— Боишься, что ли?

— Бояться особо не боюсь. Только и пословица есть: свой язык хуже любого врага.

— Ну, теперь времена другие.

— Другие-то другие...— И вдруг Олеша, хитровато сложив губы, звонко чмокнул языком.— А ты не партейный?

Я замялся:

— Как тебе сказать... Партейный, в общем-то.

— Так скажи мне, правильно ли это, ежели ограда-то выше колокольни?

— Как это... какая ограда?

— А такая. Я помню, хоть и не все были такие герои, вроде нашего Табакова... Герой. Этот герой кверху дырой. Полдела было руками на собраньях махать, громить столешницы. Помню, поехал на Судострой, вон Петькин отец приписал. По договору бараки для рабочих рубить. Только в вагон сел, дремать потянуло, время ночное, позднее. Ночь такая светлая, люди все спят. Вдруг по вагону идет человек. Ястребом по всем сторонам, глаза — в молоко поглядит, молоко скиснет. И прямо ко мне привязался. «Откуда? Куда?» Документам не верит. Сперва стоя допрашивал, а потом и пошло у него: «Проводник! Никого из вагона не выпускать! Отойдите, товарищи, не загораживайте!» Люди-то запробуждались. «А вы, гражданочка, уберите свои дамские ноги!» Я сижу, гляжу, что из него дальше будет. А что будет — слепой курице все пшеница. «Так. Гражданин, дайте вашу сумку». Это мне-то. Я сумку подал, там смена белья да два яшних пирога, черные, как чугуны. Ячмень-то был с гусинцем[1] намолот, да и мука лежалая, подмоченная. Он пирог-то разломил. «Что это,— говорит,— такое?» Я говорю, что и так видно, что такое. «Хлеб?» — «Нет,— говорю,— не хлеб, а пирог». Он мне и тут не верит: «Ты,— гово-

[1] Гусинец — гусиный горох, местное название вики.

рит,— может, по вражьему наущенью пропаганду по государству развозишь, таких пирогов не бывает».— «Как,— говорю,— не бывает, бывает». А сам думаю: тебе бы не пирог, а наш хлеб показать. Не показать, а разок накормить всухомятку, вот бы пропаганда была в брюхе-то. Кожаные-то штаны по часу на голенищах висели. Ты бы, думаю, тех ловил, которые карманной выгрузкой занимаются, а простых-то людей пошто за гребень? Молчу. Чего станешь говорить? Поглядел, поглядел, отступился. Дальше пошел, в другом вагоне пропаганду искать. После этого ни одна душа в вагоне со мной не разговаривала, до самой Исакогорки. Как на зверя глядят, страму не оберешься. Вот, думаю, что наделал, вихлюй!

Олеша очень живо в лицах изображал то себя с пирогами, то вагонного проверяльщика.

— А я, друг мой Констенкин, еще скажу, что сроду так не делал, чтобы, осердясь на вошей, да шубу в печь.— Старик снова стал серьезным.— Бог с ним. Была вина, да вся прощена...

Баня оказалась готовой, нужно было затоплять и париться.

17

Уходя, я предложил Олеше рассчитаться за работу, но старик то ли не расслышал, то ли притворился, что не слышит. Лишь после я сообразил, как не к месту было сразу после работы предлагать деньги старому плотнику. Но к предложению «замочить» баню, отметить конец ремонта Олеша отнесся не то чтобы с большим восторгом, но как-то помягче:

— Чайку можно попить. Зайду.

— Старуху бери с собой!

— Спасибо, Костя! Эта-то уж не пойдет.

— Ну так я жду часика через два.

Я прикинул, что у меня есть, чтобы принять гостя, хотел сразу же собрать на стол, но вспомнил, что пообещал прийти к Евдокии, наладить радио.

Минутка встретила меня с чисто формальным лаем: тявкнув для порядка, она шмыгнула в сени. В доме ярко горело электричество, ворота были открыты, но на пороге я чуть не свернул себе шею. Стлань в сенях напоминала черт знает что, только не пол: двух половиц не было совсем, какие-то плахи и дощечки торчали поперек и были веселые, как говорят плотники. А одна дырка закрывалась фанеркой от посылки. Лампочка ярко и с озорством освещала все эти свидетельства плотницкого искусства самой Евдокии.

Я вошел в избу и слегка опешил: радио орало на полную мощь и очень чисто. Передавали что-то про африканскую независимость. За столом сидела Анфея и разговаривала с хозяйкой, шумел самовар, бутылка красного вина была освобождена на одну треть. Тарелка сушек стояла на столе, другая с рыжиками.

Я поздоровался.

— Чего неладно с радио-то? Вроде хорошо говорит.

— Да теперь-то говорит,— Евдокия пошла к шкафу.— Утром-то не говорило. Ну-ко, за стол-то садись, садись!

Анфея, стараясь перекричать репродуктор, плела что-то про телевизор, как его покупали и что по нему передают, а Евдокия, к моему удивлению, выставила бутылку «белой».

— Ой, отстань, отстань,— затараторила она.— Са-

дись да выпей-ко, дак теплей будет-то. Садись, не побрезгуй. Ну-ко вот, распечатывать-то я не мастерица.

Что было делать? Я сел за стол. Евдокия тотчас налила чайный стакан водки, а себе и Анфее по стопке красного. Что-то неуловимое, какая-то зацепка помешала мне спросить, по какому случаю Евдокия празднует.

— Ну-ко, Неля, давай. Со свиданьицем.— Евдокия, подавая пример, взяла стопку.

Неля покуражилась для виду, напевно сказала:

— Да вот, Константин-то у нас отстает.

И вот, не прислушиваясь к шевелению совести, я чокнулся с обеими и выпил полстакана. Но женщины заговорили, как по команде, обе сразу: «Ой, Платонович, ты зло-то не оставляй!» И я допил вторую половину... Водка была до того противна, что в желудке что-то камнем остановилось и нудно заныло.

Я с трудом заглушил тошноту соленым рыжиком. А Евдокия уже наливала в стакан снова...

Уже минут через десять я понемногу начал проникаться уверенностью, а главное — добротой к Евдокии, к Неле, к этому симпатичному самовару, к этой оклеенной газетами избе с кроватью и беленой печью, с этим котом и с увеличенным портретом сына Евдокии, погибшего на последней войне «в семнадцать годков». Моя доброта росла с каждой минутой, хотелось сделать что-то хорошее для Евдокии, ну, хотя бы испилить дрова либо перестлать пол в сенях, Анфею, то бишь Нелю, расспросить и утешить.

В чем же утешить? Неля совсем не давала повода ее утешать. Она давно уже спорила о том, где лучше проводить отпуск, в деревне или в городе.

— Ой, нет! Нет и нет, Костя, ты меня не агитируй.

В деревне разве это жизнь, ежели и выйти некуда, и поговорить не с кем.

— Приехала же вот...

— Приехала; давно не бывала, вот и приехала. Нет и нет.

— Все равно тянет на родину...

— Ничего и не тянет. Выпей-ко лучше! Да не из этой, из той-то, из светлой-то...

— Постой, а где Евдокия?

Евдокии на стуле не было. Не было ее и на кухне, и только теперь сквозь хмельной туман я начал ориентироваться и соображать, что к чему... Часы показывали восемь вечера. Олеша мог с минуты на минуту прийти ко мне домой, а я и сам оказался почему-то в гостях.

В это время Анфея, не стыдясь, пристегивала отцепившийся чулок.

— Ты садись, Константин, садись. Евдокия на конюшню ушла, она там и ночует в теплушке.

— В теплушке?

Анфея, не отвечая, встала у зеркала. Вся моя доброта разом исчезла.

Я потоптался посреди избы и решительно произнес:

— Ну, мне надо идти.

Разрумянившаяся Анфея не повернулась от зеркала. Она устраивала свою прическу.

— Пока! — я не совсем уверенно выскочил в сени. Дернул за скобу, но ворота были заперты... с улицы. Озлобившись, я сильно начал дергать за скобу. Палка, вставленная в наружную скобу, загремела, и ворота открылись. Вдовьи приспособления для запирания ворот не выдержали, я как чумной вылетел на улицу. «Ну,

деятели!» К счастью, Олеша не приходил, он был не из тех, кто ходит в гости после первого приглашения.

18

Мне надо было уезжать, мы с Олешей топили на дорогу баню. Олеша привез на санках еловых дров, пучок березовой лучины, а я взял у него ведро и наносил полные шайки речной воды.

— Истопишь? — Олеша прищурился.

— Истоплю — оближешь пальчики.

— Ну, давай, а я пойду обряжу корову.

Сначала я начисто мокрым веником подмел в бане. Открыл трубу, положил полено и поджег лучину. Она занялась весело и бесшумно, дрова тоже были сухие и взялись дружно.

Дров Олеша привез с избытком. В бане уже стоял горьковатый зной, каменка полыхала могучим жаром, закипела вода в железной ванне, поставленной на каменку. Угли золотились, краснели, потухая, и оконный косяк слезился вытопленной смолой. Сколько я ни помнил, косяк всегда, еще двадцать лет назад, слезился, когда жар в бане опускался до пола.

Угли медленно потухали. Я закрыл дверцу, сходил домой, взял транзистор и под полой принес его в баню. Утром я слышал программу передач. Где-то в это время должны передавать песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха». Я хотел устроить Олеше сюрприз на прощание. Поставил приемник в уголок под лавочку и замаскировал старым веником. Закрыл трубу. Угли, подернутые пепельной сединой, еще слабо мерцали, но угару уже не было. Можно мыться. Я пошел

 домой, достал из чемодана пахнущее свежестью белье,

полотенце и двинулся к Олеше. Я думал о том, что, наверное, в старину вот так же, с такой же отрадой, возвышенной и покойной торжественностью ходили мои предки к пасхальной заутрене. Мне было и грустно и радостно. Синее небо, расширенное и впервые по-настоящему вешнее, было необъятно, снег отмякал на дороге. С крыш катилась настоящая весенняя капель. В березах и черемухах таилось предчувствие новизны, последний легкий зимний покой, последний сон. Леса вокруг словно подвинулись ближе к деревне, на конюшне сдержанно ржал конь.

Олеша не спеша слазил на чердак за веником.

Вероятно, нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем. Летним, зеленым, еще не распаренным, сухим, но таящим запахи июня березовым веником. Землей, оттаявшей под полом каменки. Какой-то родимой древностью. Тающим, снежным холодом... Своим же потом и собственной кожей...

Так. Первым делом надо повесить шубу. Покурить. Разуться, слегка замерзнуть...

Олеша еще ходил около бани, разглядывал свою работу. Но я уже сидел на полке в сухом, легком, ровном жару и вздрагивал от подкожного холода.

— Добро, парень, добро протопил.— Олеша сел на порог и, не торопясь, снял валенок, поглядел на запяток.— Ишь, мать честная, вроде и подшивал-то недавно. Париться-то будешь?

Этот вопрос был, пожалуй, излишним. Я спрыгнул вниз и медным ковшиком сделал пробу. Валуны отозвались коротким и мощным шумом.

— Ну, давай...

Каменка зашумела, сухой, нестерпимый жар ласко-

во опалил кожу. Я ошпарил веник, отчаянно взобрался на верхний полок и вмиг превратился в язычника: все в мире перекувырнулось и все приобрело другое, более широкое значение.

— Ну-ко, теперь посидим...

Но Олеша, предложив посидеть, будто повинуясь какой-то силе, сам себе противореча, вновь поддал на каменку и без остановки полез наверх снова. Я сидел на полу без всяких мыслей. Вспомнил про транзистор, незаметно покрутил колесико, и в бане, в моей старой бане произошло какое-то новое чудо. Голос певца народился неизвестно откуда. В этих естественных, удивительно отрадных звуках не было ничего лишнего, непонятного, как в хлебе или воде: они так просто, без натуги, не чувствуя сопротивления, слились с окружающей, казалось бы, совсем неподходящей обстановкой. И Олеша вовсе не удивился, только перестал шуметь, затих и все клонил, клонил лысую голову, потом вдруг встрепенулся, хотел что-то сказать и не сказал.

— Ах ты, едрена-корень...

Я, торжествуя и радуясь, выволок из-под лавочки транзистор и подал ему.

— На! Будешь теперь под музыку париться.

— Ну, ежели, это... Не жалко, ежели...

— Не жалко. Какое там жалко!

— Хм. Вот ведь как. А я думаю, это во мне чего-то поет. Из нутра.

— Из нутра и есть.

— Ну и жизнь пошла! Занятная. Умирать неохота,— Олеша намылил мочалку.— Я тебе, Костя, прямо скажу, что особо в его не верю, в этого бога. Какой тут, к бесу, бог, не видал я его и врать не буду. Только иной раз и задумаешься. Вот живет человек, живет,

а потом шасть — и умер. Как это, спрашиваю, понимать? Ведь ежели вникнуть, так вроде чего-то и нехорошо выходит: был человек, а вдруг тебя нету. Куда девался? Ну, ладно, это самое тело иструхнет в земле, земля родила, земля и обратно взяла. С телом дело ясное. Ну, а душа-то? Ум-то этот, ну, то есть который я-то сам и есть, это-то куда девается? Был у меня этот самый ум, душа, что ли, ну то есть я сам. Не тело, а вот я сам, ум-то. Был — и нет. Как так?

— Никуда ты не денешься. Останешься. Ну, вот сделал ты мне баню... Умрешь, а я приеду в отпуск: приду париться. Так же вот думать буду, как ты сейчас, и тебя буду вспоминать. Выходит, что ты во мне будешь сидеть, хоть тебя и нет давно.

— Сумнительно что-то...

— Ничего не сумнительно.— Я и сам поверил в то, что на ходу рассказал для Олеши.— Баня? А наши с тобой разговоры все? Ну, вот возьми твою Настю, она вон у тебя кружева плетет. А не будет ее, а красота эта и после нее останется. Это разве не душа?

— Душа...

— Ну, а вот мы сейчас песню с тобой слушали. Ведь этого человека, может, двести годов нету, а душа-то в песне осталась, ты вот только что ее чуял. И никуда этот человек не девался, разве не правильно говорю?

— Оно, пожалуй, так...

— Вот и ты так же, баню сделал, про жизнь рассказал. И никуда ты не денешься без следа, останешься.

— Баня-то ведь это не я...

— Как же это не ты?— я даже подпрыгнул.— Как это не ты?

— Да ведь умру вот я, а ты возьмешь да баню мою раскатишь! И все мои слова-разговоры забудешь. Вот и вся душа и весь мой ум, весь я и кончился. Ну, ты, может, и не забудешь, а другой забудет, люди-то разные.

— Другой тоже не забудет!

Олеша ничего не сказал в ответ.

19

Дома я зажег лампу, нащепал лучины и поставил самовар. Вскоре, побритый и принаряженный, пришел Олеша. Вешая на гвоздь его шапку и полупальто, я неожиданно для себя спросил:

— А что, может, за Козонковым сходить?

— Дело хозяйское,— сказал Олеша.

...Жажда творить добро опять зазудела во мне. Я поручил Олеше глядеть за самоваром, побежал за Козонковым. Словно избавляя от опасности еще раз столкнуться с Анфеей, Авинер встретился мне на улице, он правился к бригадиру играть в карты.

— Зайди, Авинер Павлович, на часик.

Козонков замешкался, но я был красноречивей обычного. В сенях посветил Авинеру фонариком.

— Здравствуйте!— громко сказал Козонков.

— Авинеру Павловичу, Авинеру Павловичу!— В голосе Олеши было смешливое добродушие.

...Бутылка армянского коньяка, припрятанная на всякий случай, не давала мне покоя: старики, вероятно, сроду не пивали такого. Поспел самовар. Я открыл консервы, нарезал хлеба и налил по полстакана.

 — Ну, Авинер Павлович, Алексей Дмитриевич!

Старики по очереди разглядывали красивую этикетку.

— Правда, говорят, что его на клопах иногда настаивают?

— Врут!

— Выдержка, вишь, пять лет.

— Ты смотри...

— Я так в чаю только.

— Ну, в чаю коньяк не годится.— Я заварил и чай.— Коньяк пьют по глоточку.

Вот дурак, разве можно так говорить? По глоточку... Но Олеша неожиданно меня выручил:

— И ладно, что по глоточку. Вот раньше пили, рюмочки-то были: палец сунешь, в ней сухо будет. Теперь вон стаканами глушат, а что толку?

— Значит, лучше жить стали,— заметил Авинер.

— Лучше — не скажу. А вино пьют, как лошади. Напьются, да давай друг дружку возить. А бабы-то что делают!.. Иная... Иная, как вод...— Олеша закашлялся.

Мне пришлось вспомнить забытые приемы деревенского потчевания. Олеша крякнул, неторопливо взял кусочек консервов, то же сделал и Авинер.

— Что, баню-то, доделали?— спросил Авинер.

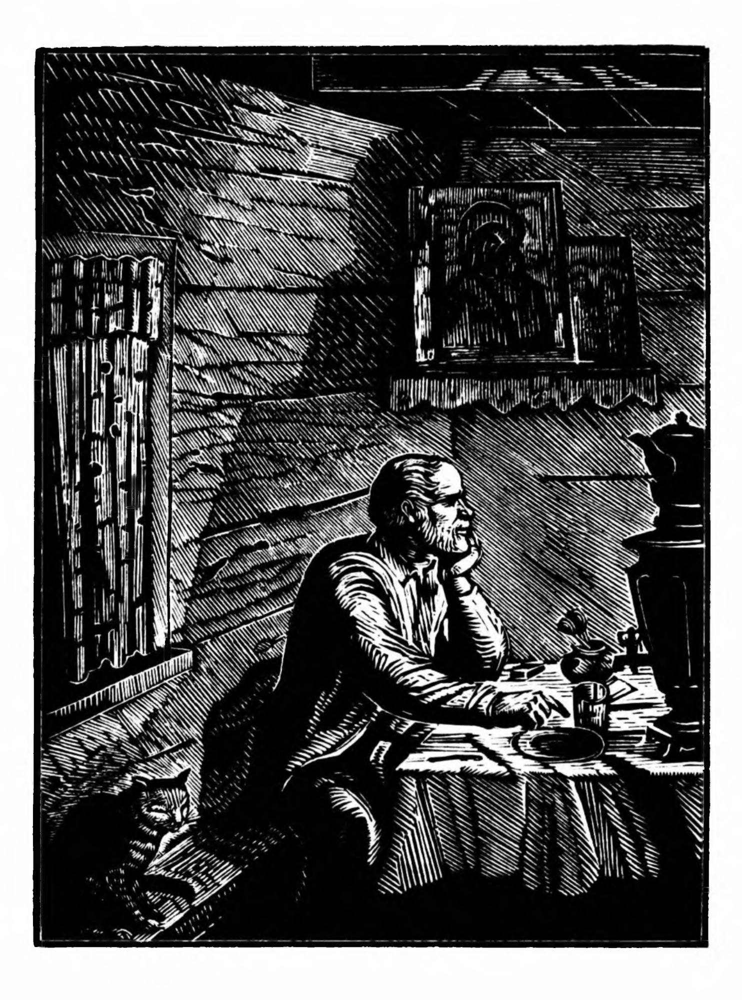
— Баня, Авинер Павлович, у мужика будет добра, простоит еще двадцать годов,— сказал Олеша.

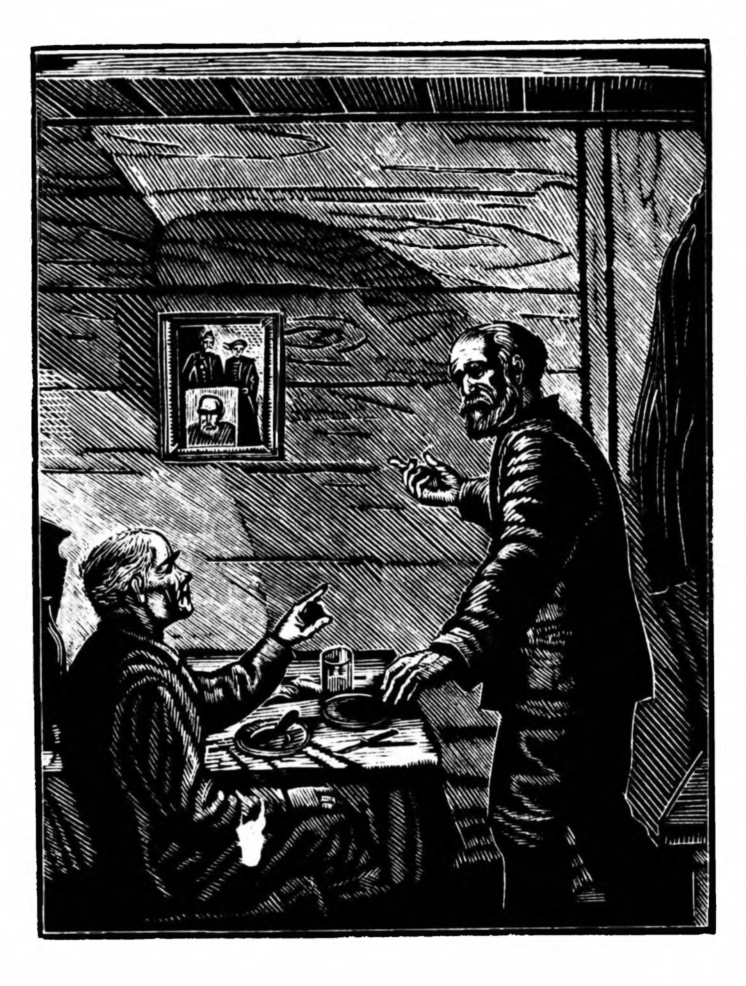
— Баню не похаешь, как колокол.

— Добра баня. А у тебя, Павлович, разве худая баня? У тебя баня тоже хорошая.

— Не скажу, что худая. Вот хочу котел вмазать, на белую переделать.

Они мирно беседовали, я слушал их добродушные голоса, и мне вспоминались плотницкие рассказы.





Какой-то чертик, вертлявый и хитрый, подзуживал меня все время. И вот я налил еще и приготовился говорить речь, речь об их жизни: мне казалось, что надо наконец поставить точки над «и».

— Вот вы оба жизнь большую прожили, а нынче друг с другом неделю не здоровались. Вы бы сели да и разобрались, кто прав, кто виноват. В открытую!

Это была явная провокация. Но я уже завелся и не мог остановиться, взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами.

Авинер Козонков решительно отодвинул стакан с чаем:

— Я тебе, Констенкин, так скажу, что колхоз упекли. Упекли из-за худой дисциплинки. Народ совсем осатанел, напряжение у нервов ослабло. Приказов не слушают, только пекут белые пироги.

— Полно, Авинер Павлович, отстань. Разве дело в этом? — Олеша поставил стакан вверх дном.

— Нет, не отстану! Я, бывало, повестки пошлю — так на собранье-то летят пулями, дисциплинка была, не в пример теперешней роли. Все бегали!

— Бегали. И не хочешь, да добежишь. Кто сусеки-то до зернышка выгребал, не ты, что ли? Колхоз колхозу, Козонков, большая разница. Я, к примеру, в ТОЗ-от вступил без твоего нагана. А вы с Табаковым ТОЗ-от распустили, а сделали из него артель.

— ТОЗ распустили не мы с Табаковым.

— А кто?

— Директива из центра пришла.

— Директива директиве разница. Бывало, директива была спущена на озими коров пасти. А до этого,

ежели овца забредет в озимь, так хозяев под суд за это. Тебя хлебом не корми, подай директиву. Тебя и район укорачивал. Хорошо, что не ты один был в ячейке-то, были и хорошие люди.

— А ты как был классовый враг, так и остался,— повысил голос Козонков.— Дело ясное.

— Нет, не ясное. У вас с Табаковым все было уж больно просто: в деревне по одну сторону бедняки, а по другую кулаки. А про меж них стоит середняк — и ни рыба вроде, ни мясо. Три слоя. А слоев-то было не три, а все тридцать три, ежели не больше. Чего говорить. Сапожников и тех прижали, смолокуров. Мол, частная анициатива, свое дело.

— А что, разве не свое?

— Дело. Конечно, свое дело. А чье оно быть должно? Без этого дела вон вся волость без сапогов осенью набегалась, когда Мишу-то прищучили, сапожника-то. Теперь ежели рассудить с другого боку, как это Кузя Перьев в кулаки угодил? Ведь у него не то что чего, так и коровы не было. В баню пойдет — рубаху сменить нечем. Потому что Табакова обматерил в праздник, вот и попал в кулаки. А Колюха Силантьев был справный до колхозов, он и в колхозе тоже был справный, все время ходил в ударниках.

— Ты, Смолин, мне зубы не морочь, туманом глаза не застилай. Вон возьми Лихорадова. Дача лесная, торговля на всю округу.

— Торговля — дело другое. Укоротили Лихорадова, ладно и сделали.

— А Федуленок чем лучше? Тоже частная собственность.

— Так ведь Федуленок сам на земле вырастит да продаст. Без этой торговли людям нельзя ни в городе,

ни в деревне. За такую торговлю и Ленин стоял. А Лихорадов, тот продавал купленное. Есть разница?

— Нет разницы. Тот же сплататор, тот же буржуй и Федуленок.

— Вот тебе раз! Да кого ж Федуленок сплоататничал? Разве свой горб да свою же шею.

— Людей нанимал на жнитво и на сенокос.

— Ничего он не нанимал. Помочи делал, так помочи и вы с Горбунком делали.

— У Федуленка одних самоваров было два или три.

— А тебе кто мешал самовары-то заводить? Федуленок вон и по большим праздникам вставал с первыми петухами. Ты сам себя бедняком объявил, а пока досыта не выспишься, тебя из избы калачом не выманишь.

— А что, я не двужильный.

— Ну, а Федуленок двужильный?

— Жадный.

— Работящий. Скуповат был, верно. Когда земля после революции стала по едокам, ты и свои полосы заслужил. А он вон две подсеки вырубил, на карачках выползал.

— Жадность одна.

— Трудился мужик, землю обласкивал, а вы с Табаковым его под корень.

— Ладно и сделали. Тебя бы надо с ним заодно, ты контра была, контра и есть, все время против власти.

— Ты сам контра-то, это вы с Табаковым власть только и похабили. Ты за ее палец о палец не колонул, а Федуленок за ее воевал с Колчаком. Чья она, выходит?

— Не твоя.

— Чья?

— А бедняков.

— Вот опять за рыбу деньги. Я против бедняков хоть слово сказал, которые работали? Ведь оне, бедняки-то, которые работали, сами при новой власти из нужды выходили. А вы с Табаковым дело себе искали. Выходить им не давали. А которые не работали, дак оне и сейчас бедняки вроде тебя, ежели на должность не вышли.

— А что я? Что я? — Козонков встал. — Ты что, такая мать, меня при людях страмишь? Я что, живу, что ли, беднее других? Я тебе вот шарну сейчас...

20

Не успел я ввязаться, как Авинер обеими руками схватил Олешу за ворот и, зажимая в угол, начал стукать о стену лысой Олешиной головой. Стол с самоваром качнулись и чуть не полетели, армянский коньяк потек по ногам. Козонков со звонким звуком стукал и стукал о стену Олешиной головой, я еле отцепил и оттащил его от Олеши. Ситцевая рубаха Олеши лопнула и затрещала. Я не ожидал, что Олеша петухом выскочит из-за стола и кинется на Авинера с другой стороны. Они сцепились опять, и упали оба на пол, старательно норовя заехать друг дружке в зубы.

Я начал их растаскивать, еле погасив собственное бешенство. Мне вдруг тоже нестерпимо захотелось драться, все равно с кем и за что. Однако, вспомнив, кто хозяин дома, я опять начал разнимать драчунов. Но что было делать? Если схватить за руку Олешу,

Авинер тут же воспользуется перевесом и заедет ему кулаком в нос, если схватить за руки Авинера, то же самое сделает Олеша. И получится, по выражению Олеши, «перенесение порток с вешалки на гвоздик». Я прискакивал около них, стараясь подступиться то с той стороны, то с этой и рискуя обратить против себя обоих. Тут-то, в самый разгар поединка, и появилась на пороге Олешина Настасья! Старуха пришла проведывать Олешу, увидела побоище и, ругая старика то дураком, то пеньтюшкой, виня одного его, оперативно погасила смуту... Она утащила Олешу домой, а я помог Авинеру встать, выждал момент и под ручку повел тоже домой.

— Я! Да я...— Авинер еле переставлял ноги.— Я за дисциплинку родному брату... головы не пожалею.

— Брату? Головы?

— Отлетит на сторону!

У своего дома он несколько поостыл. Обнимая меня и приглашая к себе, сказал, что у него есть еще чекушка, что жалко, что у него часы на руке, а то бы он этому Олеше дал звону...

Я вернулся домой. Сел у окна и долго глядел на луну. Часы, сбитые с толку потасовкой, остановились. Олешина шапка, раскинув уши с завязками, валялась на полу. Тишина в доме стояла абсолютная. Я равнодушно улез на печь, равнодушно, даже не противясь своей тоске, лег...

Я не помнил, сколько часов подряд не вставал, не топил печь. Сквозь дремоту я ощущал характерное пощипывание в горле — верный признак надвигающегося гриппа. Все тело ломило, появилась нудная головная боль и сухость во рту, поднялась температура.

В избе совсем выдуло. Я лежал на остывающей печи и тупо глядел в потолок, потом забывался, и меня окружали кошмары. То мне снилось, что я совсем раздет, сижу голый, а кругом люди, то погружался в какие-то иные миры. Гудел в ушах, бил по темени неведомый колокол. Я пытался увидеть этот колокол, но в тумане маячила одна развороченная колокольня и почему-то Авинер Козонков кидался оттуда осколками кирпичей. Осколки летели градом, я старался убежать, а ноги не слушались. Вдруг колокольня стала не колокольня, а баня, и Петя-кузнец с загадочным видом ходил около, ища под углами полтинники. И баня, и Петя-кузнец растаяли, исчезли, я услышал вопль необъезженного жеребца, а бригадир почему-то душил жеребца Олешиной шапкой. Жеребец вдруг превратился в Авинерова кобеля и начал фамильярно меня обнюхивать.

Стукнули ворота.

Я с усилием прояснил сознание, шевельнулся. Неожиданно вошла Настасья, подняла с пола Олешину шапку:

— Ой, бес, ой он бес, до чего напился, шапку потерял! А я, Констенкин, за тобой пришла-то. Ежели, говорит, без него, дак домой не ходи.

— Не могу, Настасья, совсем заболел.

— Занемог?

— Занемог.

— Ну так я тебе малины сушеной принесу. Ты кряду и поправишься.

Настасья ушла, вплетаясь, в кошмары. Колокол редкими ударами бил где-то далеко-далеко, в глазах расплывались радуги. Тоска душила со всех сторон, потом, когда мысль прояснялась, меня охватывала

брезгливость, физическое отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Все рушилось, все распадалось...

Я вспоминал вчерашнюю драку с отчаянием, во мне копилась ненависть к обоим ее участникам. Постой, а какого черта надо тебе? Что ты-то хочешь в этом споре? Я окончательно запутался...

Голова разламывалась от боли, и хотелось плакать, но я тут же хохотал над этим желанием: «Я, только я виноват в этой драке. Это я захотел определенности в их отношениях, я вызвал из прошлого притихших духов. А потом сам же испугался и вздумал мирить стариков. Потому что ты эгоист и тебе больше всего нужна гармония, определенность, счастливый миропорядок. Примирил, называется. Стук лысой Олешиной головы о стену так явственно звучал в ушах, что я покраснел от стыда и горечи: о черт, зачем было вмешиваться? Теперь они возненавидят меня оба. Они опять стали врагами, а враги не любят не только того, кто их ссорит, но и того, кто старается примирить. Это уж точно. Их вражда не помешает им блокироваться против тебя. И ты никогда не проведешь спокойно свои двадцать четыре здесь, на родине. Ах, вот, оказывается, в чем дело? Сразу бы так... Ты и тут думаешь только о себе. Двадцать четыре без выходных... Да нет, дело не в этом. Интересно, в чем? А в том... В чем? В том, что...

Какая-то мысль комаром вертелась около уха, но я никак не мог ее изловить. Все перемешалось в моей голове: «Надо встать. Надо прежде всего встать. В гробу я видел этот дурацкий грипп! Сейчас пойду к Настасье, она заварит мне сушеной малины. И пусть Олеша ненавидит Козонкова, тот заслужил Олешину

ненависть. Пусть Авинер ненавидит Олешу, этот тоже хорош. Видимо, так все и должно быть. Да! Да! Да!»

Я не помнил, как надел валенки. Слез с печки, пошатываясь, оделся и вышел на улицу.

Ворота Олешина дома захлопнулись, и я, качаясь от слабости, поднялся по лесенке. Взялся за скобу...

Боже мой, что это? Я не верил своим глазам. За столом сидели и мирно, как старые ветераны, беседовали Авинер и Олеша. Не было ни крику, ни шуму. Бутылка зеленела между чайных приборов, на столе остывал самовар.

— А мы тебя, Констенкин, давно ждем. Ну-ко, давай садись. Занемог, что ли?— сказал Олеша.

— Да нет, ничего вроде.

— Мы тебя враз вылечим.

Олеша налил полстакана бурого чая. Настасья заварила нового чаю, уже с малиной. Я растворил сахар, и Олеша прямо из бутылки дополнил стакан. Налил себе и Козонкову.

— Мы уж тебя давно, парень, ждем-то, вон и Настасью за тобой посылали,— сказал Авинер и поднял стопочку.

— Дай бог не последнюю,— сказал Олеша.

От пунша мне стало жарко. Озноб за плечами растаял, и в глазах потеплело от чего-то непонятного. Или я старею? Ах, черт побери, как все-таки хорошо жить.

— Ну, поехали!

Сквозь пелену уходящей болезни я смутно ощущал разговор Авинера с Олешей.

— Нет, Авинер Павлович, я тебя не переживу.

— Может, и ты, Олеша, меня топтать будешь.

— Оба, Авинер Павлович, в одну землю уйдем. Я уж подсчитал, на гроб надо сорок восемь гвоздей. Только ежели мне там не понравится, так я обратно прибегу, возьму увольнительную. А вот чего, парень, сделай мне гроб на шипах! Ежели умру, сделай гроб на шипах, чтобы честь по чести! Да с гармоньей похороните. Заиграют, дак я хоть ногой лягну! — Олеша даже притопнул.

— На шипах. На шипах домовина, конечно, не то что на гвоздях, оно поплотнее. — Козонков пожевал хлеба.

— Вот и давай уговор сделаем.

— Давай. Я не супротив, — сказал Козонков.

— При свидетелях! — Олеша даже привстал.

— Ну!

— Дай руку, что сделаешь на шипах?

— Да может, я раньше умру-то.

— Ну, тогда и я тебе на шипах.

Старики потискали друг другу ладони, и Олеша вдруг весело, с душой спел частушку:

Плясать-то учились
Еще мальчиками,
Дотыкались до земли
Однеми пальчиками!

Настасья со смехом замахала на него руками:

— Ой-ой, что с ним будет-то! Гли-ко он распелся-то!

— А мне теперь что! Вот ты завтра с Костей уедешь, а я без тебя и женюсь на молоденькой. В боль-

ницу схожу, все анализы сдам. Пойду в Огарково свататься!

Потом они оба с Авинером, клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную протяжную песню.

Я не мог им подтянуть — не знал ни слова из этой песни...



НА РОДИНЕ



И вот опять родные места встретили меня сдержанным шепотом ольшаника. Забелела чешуей драночных крыш старая моя деревня, вот и дом с потрескавшимися углами. По этим углам залезал я когда-то под крышу, неутомимый в своем стремлении к высоте, и смотрел на синие зубчатые леса, прятал в щелях витых кряжей нехитрые мальчишечьи богатства.

Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходил я когда-то в большой и грозный мир, наивно поклявшись никогда не возвращаться, но чем дальше и быстрей уходил, тем яростней тянуло меня обратно...

Старый наш дом заколочен. Я ставлю поклажу на крыльцо соседки и ступаю в солнечное поле, размышляя о прошлом.

Смешное детство! Оно вписалось в мою жизнь далеким неверным маревом, раскрасило будущее яркими мечтательными мазками. В тот день, когда я уходил из дому, так же, как и сегодня, вызванивали полевые куз-

нечики, так же лениво парил надо мной ястреб, и только сердце было молодым и не верящим в обратную дорогу.

И вот опять уводит меня к лесным угорам гибельная долгая гать, и снова слушаю я шум летнего леса. Снова торжественно и мудро шумит надо мной старинный хвойный бор, и нет ему до меня никакого дела. И над бором висит в синеве солнце. Не солнце — Ярило. Оно щедро, стремительно и бесшумно сыплет в лохматую прохладу мхов свои червонцы, а над мхами, словно сморенные за пряжей старухи, дремлют смолистые ели; они глухо шепчут порой, как будто возмущаясь щедростью солнца, а может быть, собственным долголетием. Под елями — древний запах папоротника. Я иду черной лошадиной тропой, на лицо липнут невидимые нити паутины, с детским беззащитным писком вьются передо мной комары, хотя кусают они совсем не по-детски. Мой взгляд останавливается на красных, в белых накрапах, шапках мухоморов, потом вижу, как дятел, опершись на растопыренный хвост, колотит своим неутомимым носом сухую древесину; в лицо мне хлещут ветки крушины, и вот уже я на сухом месте, и нога едет на скользких иглах.

Загудел в сосенной бронзе сухоросный ветер, и сосны отозвались беззащитным ропотом, и мне кажется, что в их кронах вздыхает огромный богатырь-тугодум, который с наивностью младенца копит свою мощь не себе, а другим. Под это добродушное дыхание, словно из древних веков, нечеткой белопарусной армадой выплывают облачные фрегаты.

Мне кажется, что я слышу, как растет на полях трава, я ощущаю каждую травинку, с маху сдергиваю пропотелые сапоги и босиком выбегаю на рыжий песчаный

берег, снова стою над рекой и бросаю лесные шишки в синюю тугую воду, в эту прохладную русалочью постель, и смотрю, как расходятся и умирают водяные круги.

Тихая моя родина, ты все так же не даешь мне стареть и врачуешь душу своей зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине!

Как хитрая лисичка, вильнула хвостом моя тропа и затерялась в траве, а я выхожу не к молодым березам, а к белым сказкам моей земли. Омытые июльскими дождями, они стыдливо полощут ветками, приглушая двухнотный, непонятно откуда слышимый голос кукушки: «Ук-ку, ук-ку!» — словно дует кто-то коротко и ритмично в пустую бутылку. И вновь трепетно нарастает березовый шелест.

Я сажусь у теплого стога, курю и думаю, что вот отмашет время еще какие-то полстолетия, и березы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже ведь умирают, как и люди. И мне чудится в шелесте берез укор вечных свидетельниц человеческого горя и радости. Веками роднились с нами эти деревья, дарили нашим предкам скрипучие лапти и жаркую, бездымную лучину, растили пахучие веники, розги, полозья, копили певучесть для пастушьих рожков и мстительную тяжесть дубинам...

Я выхожу на зеленый откос и гляжу туда, где еще совсем недавно было так много деревень, а теперь белеют одни березы. Нет, в здешних местах пожары не часты, и лет пятьсот уже не было нашествий. Может быть, так оно и надо? Исчезают деревни, а взамен рождаются веселые, шумные города... Я обнимаю родную землю, слышу теплоту родимой травы, и надо мной качаются купальницы с лютиками.

Шумят невдалеке сосны, шелестят березы. И вдруг в этот шум вплетается непонятный нарастающий свист, он разрастается, заполняет весь этот тихий зеленый мир. Я смотрю в небо, но серебряное туловище реактивного самолета уже исчезает за горизонтом.

Как мне понять, что это? Или мои слезы, а может быть, выпала в полдень скупая соленая роса?



ХОЛМЫ



Он пробудился от какой-то смутной щемящей тревоги. Глядел на яркий и мощный солнечный пук, бьющий в конце бревенчатого сарая, и старался понять, чем рождена эта смятенная и чем-то приятная душевная боль. Старался припомнить, что ему снилось, но образы ночного сна ускользали, оставляя неудовлетворенность.

Солнце било и в узенькие щели пазов. Ласточки со свистом влетали через окно, прижимаясь хвостиками к стропилам, щебетали, потом вновь улетали на улицу. Пахло травяной зеленью и высыхающей росой. Где-то на речке кричали ребятишки, купающиеся спозаранку, а в поле стрекотала конная косилка.

В доме никого не было. Мать, по извечной привычке, наверное, со старушечьим стоном и оханьем ушла на покос. Жена с двумя ребятишками каждое утро ходила загорать и купаться к дальнему омуту.

Он вспомнил вчерашнюю встречу со своим деревенским сверстником и вдруг понял причину своей щемящей душевной тоски.

Вчера он не успел осознать, каким немолодым, постаревшим выглядит его деревенский сверстник. А ведь он даже чуть постарше сверстника, и сегодня ночью, во сне, пришло ощущение необратимости...

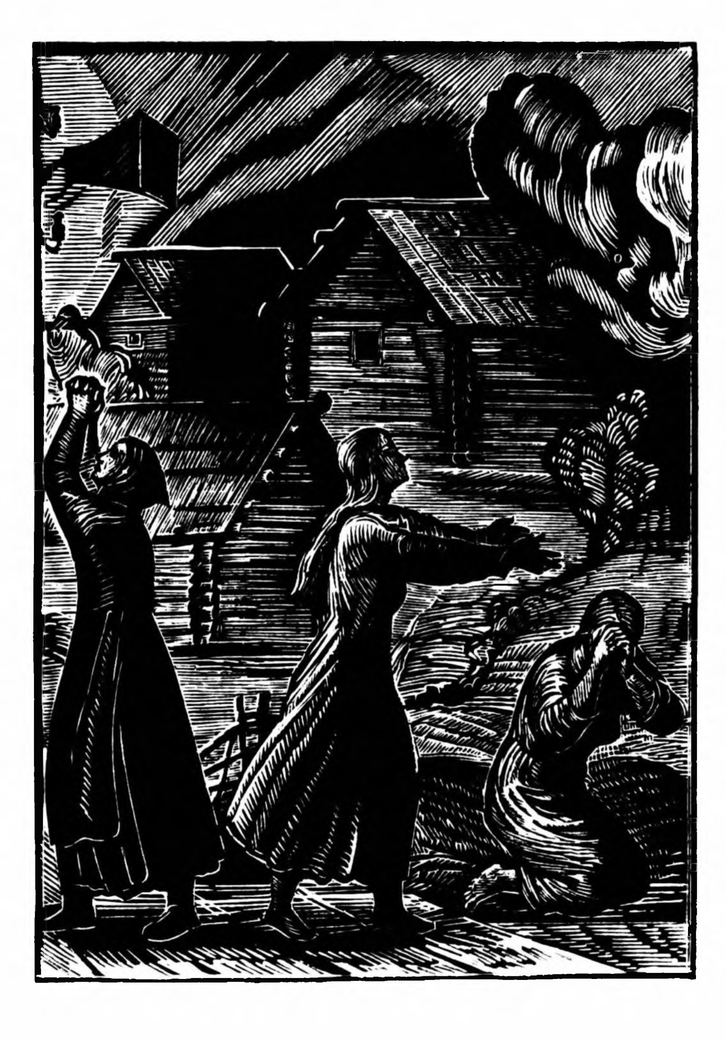
До этого он все еще считал себя молодым, а тут, во сне, в подсознании, вдруг понял, что молодость давно кончилась, что он разменял вторую половину своей жизни. «Разменял»... Какое странное слово.

В деревне никого не было. Как тогда, в сенокосном детстве, стояли у ворот домов батожки, и одни стрижи с ласточками стригли над крышами синеву теплого воздуха. Солнце с утра нагревало мягкую дорожную пыль.

Он вышел в зеленое, звенящее кузнечиками поле и на ходу медленно обвел взглядом родные, много лет не виденные окрестности и деревни. Он ощутил сейчас какое-то странное радостное и грустное чувство причастности ко всему этому и удивился: «Откуда он взялся и что значит все это? Где начало, кто дал ему жизнь тогда, ну хотя бы лет четыреста назад? Где все его предки и что значит их нет? Неужели теперь все они это и есть всего лишь он сам и два его сына? Странно, непостижимо...»

Он вышел на крутой и зеленый холмик, огибаемый голубой озерной подковой. Купол церкви плыл в небе, плыл в редких белых облаках, плыл и все не мог никуда уплыть. Пчелы тихо жужжали над купами верб. Внизу от ветра и солнца мерцало озеро, голубизна, пронизанная лучами, темнела, дробилась в своем бесконечном изменении. А здесь, на холме, было тихо и зелено. Зной истекал в небо, искажая лесной горизонт волнистыми вертикальными струями. Не в масть серым, реденьким, словно захмелевшим от времени, крестам белел свежий штакетник, и арка новых сосновых ворот плыла в небе вместе с церковным куполом.

Он долго бродил по холму, искал могилы и не находил их, пробираясь меж сильных молодых лопухов.





Могила тетки оказалась далеко за оградой, он узнал ее по камню. Но где же лежит бабка? Он помнил, что бабушкина могила была около верб, но ничего не нашел и сел на чей-то еще не очень давнишний холмик. «Да, четырех прабабок и искать нечего, если даже бабушкина могила затерялась... А ведь здесь где-то лежит и вторая бабушка, бабушка по отцу... Но где же она? Ни слуху ни духу, все сровнялось, заросло травою и лопухами...»

Вдруг его впервые обожгла, заставила сжать зубы простая, ясная мысль. Никогда раньше не приходила она в голову. Здесь, на его родине, даже кладбище только женское. Он вдруг вспомнил, что в его родословной ни одного мужчины нет на этом холме. Они, мужчины, родились здесь, на этой земле, и ни один не вернулся в нее, словно стесняясь женского общества и зеленого этого холма... Поколение за поколением они уходили куда-то, долго ли было сменить граблевище на ружье, а сенокосную рубаху на защитную гимнастерку? Шли, торопились будто на ярмарку, успев лишь срубить дома и зачать сыновей. И вот сейчас на родине, одинокие даже в земле, лежат прабабки и бабушки.

Он закурил. Изображение на сигаретной коробке впервые заставило его вспомнить, что один из его предков погиб в Болгарии на войне с турками. Об этом рассказывала бабушка. И он с горькой иронией подумал о несправедливостях женской судьбы: прадеду и тут повезло. Может быть, над его, прадедовой, могилой стоит четырехгранный памятник, поставленный болгарами славным героям Шипки. А могила прабабки затерялась...

Он думал о том, что и деда также не обделила судь-

ба: наверное, приятнее лежать в маньчжурском холме, когда об этом холме написаны романы и повести. Когда в музеях толпятся у батальных полотен потомки, а печальные вальсы о маньчжурских холмах звучат по радио. А бабушкина могила исчезла, нигде не видать ни креста, ни камня.

Он погасил сигарету, но вновь закурил: что это? Черт возьми, ведь отец его, отец обставил. Пожалуй, и деда и прадеда... Нигде в мире нет такого грандиозного, такого могучего памятника, как там, на Мамаевом кургане. Он вспомнил, как прошлым летом был в Волгограде, как целый день ходил по Мамаеву кургану. Холм, взявший отца в свои недра, был велик и печален, громадная скульптура, венчавшая вершину, бросала на город исполинскую тень. В зале воинской славы еще шли работы, но он, сын погибшего на Волге сержанта, все же увидел свою фамилию на гранитной стене...

Ушли, все ушли под сень памятников на великих холмах. Ушли деды и прадеды, ушел отец. И ни один не вернулся к зеленому родному холму, который обогнула золотая озерная подкова, в котором лежат их жены и матери. И никто не носит сюда цветы, никто не навещает этих женщин, не утешает их одиночество, которое не кончилось даже в земле.

Он сидел под вербой на зеленом, тихом, знойном холме и думал об этом.

А может быть, придет и его черед? Идти дорогой мужских предков, к чужим неродимым холмам?



ВЕСНА



Александру Романову

1

К полночи шибануло откуда-то звонким, ровным морозом. Месяца не было, но небо вызвездилось, и над деревней перекинулась исполинская белая полоса Млечного Пути. Иван Тимофеевич поднялся с печи, прямо поверх белья надел тулуп и вышел до ветру. Промерзшие половицы заскрипели под ним, в сенях оглушительно пальнуло треснувшее от мороза бревно.

На полевых задах, ближе к болоту, явственно и печально завыл волк, ему тонким долгим криком отозвалась волчица.

«Ишь, проклятыи,— подумал старик,— чтобы вы сдохли, вторую ночь воют и воют». Он закрыл ворота на засов.

В избе было тепло, пахло хомутом и просыхающими валенками. На кровати за шкафом похрапывала старуха. Иван Тимофеевич зажег лучину и вставил ее в старинный, оплывший нагаром светец: керосина не было с самой почти осени.

— Хоть бы ночью-то передышку себе делал, не курил!— заворчала Михайловна.

Иван Тимофеевич молчал, глядя, как бьет из сучка огненный фонтанчик, как, остывая, подергивался белым пухом потрескивающий уголек.

В эту зиму Ивана Тимофеевича все чаще прихватывала тоска. Началось это после того, как пришла вторая похоронная — похоронная на младшего — Колюху. Только успели опомниться от горя после первого извещения — извещения на старшего, как опять принесли бумажку из сельсовета. В ней писалось, что сын геройски погиб при выполнении задания, что похоронен там-то и там-то. Два года — две головы...

Иван Тимофеевич крякнул и зажег новую лучину. Осветился неоклеенный простенок с зеркалом и фотографиями. Старик достал из-за зеркала письмо, откинул бородатую голову, стал читать. Письмо было от среднего, от Леонида, пришло оно третьего дня. Иван Тимофеевич, шевеля губами, снова его перечитал:

«...Шлю я вам свой боевой гвардейский привет. Дорогой тятя Иван Тимофеевич, дорогая мама Надежда Михайловна, мы теперь уж идем по чужой земле. Маршрут нам один — до самого Берлина, а фрицы бегут на чем попало...»

В тишине снова громко треснул мороз. Иван Тимофеевич дочитал письмо, положил его опять за зеркало. «Эх, Ленька, Ленька! Один ты теперь у нас остался, лежат оба твои братана в земле, не встанут никогда, и некому теперь, кроме тебя, играть на гармонье». Иван Тимофеевич покосился на шкаф, где внизу лежала давно никем не троганная гармонь. Потом подождал, пока догорела лучинка, и залез на печь. Однако сна так и не было, и вскоре старик опять поднялся, собираясь ехать затемно за дровами.

Михайловна канителилась около печи.

Иван Тимофеевич с истертым дубленым тулупом на плече, в большущих валенках и с топором за ремнем подошел к воротам колхозной конюшни. Мороз ярился,

как стоялый, откормленный овсом жеребец, ночь была на избыве. Как мелкие битые стеклянки, мерцали в небе звезды, но за деревней уже обозначилась лиловая заря.

В конюшне было теплее. Сивая лошадь Свербеха глубоко всхрапнула, когда старик подошел к стойлу. Свербеха никому, кроме Ивана Тимофеевича, не давала себя обрабатывать: она по-крысиному вытягивала шею и прижимала уши, норовя укусить. Бабы всегда ловили ее граблями за спутанную гриву или же звали на помощь Ивана Тимофеевича.

Старик ласково обратал Свербеху и вывел в коридор, чуть не упал, наступив на мерзлый кругляк конского помета. Уже брезжило. Кое-где из труб забелели высокие, расширенные кверху столбы дыма: мороз не собирался уступать.

Иван Тимофеевич надел на Свербеху хомут, седелку. Потом завел в оглобли, расправил затвердевший гуж и начал запрягать. Он с наслаждением через ногу стянул клещевину хомута (сила еще была), ловко замотал и заправил сыромятную супонь, подседлал и завожжал.

Скрипнули промерзшие дровни. Иван Тимофеевич сидел в тулупе на полудугах, которые кладутся на дровни, чтобы не раскатывались дровяные кряжи.

«Эх, жизнь бекова!..— подумал старик и выехал из деревни.— Хоть бы скорей война кончилась, приехал бы Ленька, завернули бы ему свадьбу...»

Снег скрипел под полозьями, словно шла по дороге тысяча женихов, обутых в сапоги со скрипом,— в такие сапоги, какие шьет хромой сапожник Ярыка. Ярыка умел класть в задник сапога такую бересту, что при

ходьбе и пляске они скрипели на всю волость, на весь сельсовет.

Светало. Снежное поле с застывшими волнами наста вдруг порозовело от холодного солнца, и Иван Тимофеевич подхлестнул Свербеху. Она мотанула в ответ сивой репицей и запереступала скорее. Вся кобыла да и сам старик давно заиндевели до последнего волоска. Дровни стонали и пели, и под это пение накатывались хорошие думы о прежних годах.

— Ох-оох, обоих укокало! — вслух подумал Иван Тимофеевич.— За что такая беда, за что?..

Дрова — мелкий ельник с кривоногим ольшаником и белобокий березняк — были еще с осени нарублены в болоте и стояли костром. Иван Тимофеевич обмял снег вокруг костра, объехал его и, не торопясь, начал складывать. Он только наложил воз и завязал его веревкой, как вдруг Свербеха беспокойно метнулась, чуть не сломала оглоблю и вся задрожала всхрапывая.

Иван Тимофеевич оглянулся — и обомлел: два тощих волка, поджав хвосты, прыгнули в сторону. Они остановились и, сонно щуря холодные бессмысленные глаза, трепетно шевеля ноздрями, вытянули морды. Иван Тимофеевич увидел даже седину на нижней челюсти одного волка.

Свербеха, несмотря на тяжесть воза, с тревожным ржанием бросилась по дороге, и старик еле успел прыгнуть на воз. Торопливо вытаскивая из-за ремня топор, Иван Тимофеевич видел, как один волк легко перемахнул через валежину, другой обогнал первого, и по насту они в четыре прыжка оказались рядом. Лошадь понеслась вскачь. «Только бы не лопнула завертка»,— мелькнуло в голове. Все это произошло за не-

сколько секунд и плохо запомнилось Ивану Тимофеевичу. Передний волк дважды прыгал к горлу Свербехи, и каждый раз, кувыркаясь, отлетал, отброшенный запрягом. В это время второй волк, видимо, трусил, но вдруг на какой-то миг Иван Тимофеевич увидел тонкие лапы и звериную морду и ударил по этой морде обухом. Зверь взвизгнул и, корчась, растянулся на снегу. Первый еще несколько раз прыгал к лошади, но Свербеха галопом неслась уже по полю, и невдалеке белели высокие столбы печного дыма.

2

Весна была трудная, затяжная. К началу мая еле-еле набухли и посерели речные изгибы. В колхозе началась бескормица. Как-то Михайловна прибежала сама не своя из хлева, с плачем заметалась по избе:

— Ой, Иван, ой, корова-то!..

Иван Тимофеевич бросился в хлев. Корова лежала на боку, дрыгала ногами, большой коровий глаз уже закатился. Иван Тимофеевич побежал в избу за ножом, чтобы прирезать животину, долго искал нож. Но было уже поздно. Корова сдохла, и мясо пришлось зарыть.

После этого Михайловна осунулась еще больше и начала заговариваться. А тут еще у Ивана Тимофеевича кончилось курево. Он дергал из паза коричневый спрессованный мох, но дым только расстраивал. Сапожник Ярыка тоже маялся из-за табаку, но ему изредка носили махорки за шитье, и Иван Тимофеевич по воскресеньям ходил курить к Ярыке.

 Сено в колхозе кончилось еще до весны, и половина

лошадей передохла, коровы держались кое-как на соломе, снятой с крыш.

Однажды Иван Тимофеевич вышел утром на крыльцо: бригадир распорядился съездить на Свербехе по старым вытаивающим остожьям пособирать остатки сена.

Было солнечно, и с утра начиналась теплынь. Со всех сторон на деревню летели знойные песни тетеревиных токов. Косачи булькали; казалось, во всем мире небо нежно синело над крышами; и река разлилась и ровно шумела внизу, за деревней.

Иван Тимофеевич в первый раз за всю весну надел сапоги. Накануне он промазал их дегтем, просушил портянки, и сегодня легко и радостно было освобожденной от валеночной тяжести ноге; запах талой воды и дегтя напоминал о прежних веснах.

С зимней стороны домов таяли последние суметы, а с летней, на припеках, кое-где проклевывалась первая травка. Над потеплевшими полями всходило большое солнце, смоляные белоносые грачи бродили по пашне, пахло солнцем, навозом и весенней водой.

Чисто и беззаботно пропел над головой скворушка. Иван Тимофеевич задрал бороду и долго глядел на птаху. В сквозной синеве не было ни одного облака, и скворечня, еще до войны поставленная у рассадника Леонидом, плыла в той синеве.

Иван Тимофеевич, пробуя, не текут ли сапоги, прямо по лужам прошел на конюшню. Свербеха в этот день еле встала. Несколько раз пыталась она выбросить из-под себя передние ноги, но усилия были слабы, и старику пришлось помогать ей. Наконец она встала, сперва на передние, потом на задние ноги, благодарно прислонила длинную сивую голову к плечу Ива-

на Тимофеевича. Старик пошебаршил у нее за ухом, поглядел в пустую кормушку.

— Что, брат, нету сенца-то? Нету, девка, сам вижу, что нету. Ну, потерпи, потерпи.

Он с веревкой пошел в поле, к одному, потом к другому остожью. Около стожаров вытаяли промытые, бескровные волоти сена. Иван Тимофеевич насобирал целую ношу такого сена и на себе принес в конюшню. После солнечного поля в конюшне показалось темно, как ночью. Свербеха радостно и тихо заржала. Иван Тимофеевич кинул ей охапку, только хотел поделить остаток между другими уцелевшими лошадьми, как вдруг в просвете ворот появилась доярка Полька Балашова.

— Да ты что, Иван, делаешь-то? — плачуще заговорила она.— Ведь еще вчерась бригадир говорил, что сено для коров на остожьях, а ты его лошадям. О господи!

От голода большие Полькины глаза стали еще больше, от горя печальнее. В первый же день войны Алешка Балашов ушел на фронт, не прожив с женой и медового месяца. А уже под весну, в феврале, Польке принесли похоронную. Полька зашлась без памяти в беззвучном плаче, два дня прокаталась по полу и на третий родила сына-недоноска. Витьке все прочили близкий конец, а он взял да и выжил. С той поры Полька переменилась начисто, словно родился не Витька, а она сама, и всю войну работала на ферме.

Сама не своя, кинулась Полька собирать остатки сена.

— Ты, Полинарья, погоди, ну... вишь ты. Давай пойдем-ко в поле-то, пособираем еще, от ей-богу! — Иван Тимофеевич взял веревку.

Они вместе с дояркой долго ходили в поле, кое-как наскребли две ноши сена и с трудом притащили на ферму. Полька, обрадованная, лихорадочно бегала вдоль кормушек; коровы тыкались мордами ей в бок и трубили наперебой.

Иван Тимофеевич зашел в водогрейку. Большая закопченная водогрейка была пуста. Пахло плесенью и креолином, на полу валялся разряженный ржавый огнетушитель, на раме изумрудная отогревшаяся к весне муха слабо перебирала лапками.

Вдруг Иван Тимофеевич услышал, что в малом котле что-то шебаршит. Старик глянул. В котле сидел Витька и ел глиняную обмазку. Кривые, тощие ножонки он сложил калачиком, все лицо было в глине, как в шоколаде.

Витька перестал жевать глину, восхищенно уставился на Ивана Тимофеевича и улыбнулся. Старик утер ему нос, сделал «козу» в животик:

— Ну, что, енерал, в котле сидишь? Ешь, ешь глинку-то ешь.

Иван Тимофеевич вышел на солнышко. Его ослепило синевой и золотом яркого весеннего дня, оглушило птичьими криками и шумом водополицы. Полька, навалившись на барьер кормушки, судорожно тряслась плечами, выламывала руки и сдерживала тяжкие частые вздохи. Старик, чувствуя тревогу, подошел поближе.

— Полинарья, ты что?

Полька отшатнулась от кормушки. Глотая слезы и улыбаясь, проговорила:

— В-в-войне конец. Кончилась, война кончилась!

В теплушке из котла ревом отозвался Витька.

3

Ярыка тачал скрипучее голенище и говорил сам с собой. Когда Иван Тимофеевич сообщил ему новость, сапожник сначала не поверил, потом обвел глазами свою избу и со всего маху швырнул голенище под лавку.

— Эх, маткин берег, да неужто?!

Он, как молоденький, подскочил к подполью, дернул крышку за колечко и исчез под полом. Вскоре он вылез обратно, держа в кулаке пыльную четвертинку.

— Во! Два года берег! Думаю, не я буду, ежели не доживу до такого момента!

Он достал из комода две чашки, а Ярыкина баба принесла на сковороде лепешку из соломенной муки. Разрезали луковицу.

Ярыка полосатой от дратвы рукой взял чашку, чокнулся и выпил, двигая тощим кадыком. Крякнул. Иван Тимофеевич давно не пил водки. Его обожгло, теплой волной пошла по телу давно не испытанная истома.

— Вот и дождались, Иван, светлого часу,— заговорил Ярыка, разливая остатки из четвертинки.— Дождались... А как жить будем? Колхоз стал не колхоз, а одна беда. Мужиков осталось в деревне только мы с тобой — куда девалась вся сок-сила? Всех побили до единого. Один твой Левонид...— Ярыка надолго закашлялся, показывая язык и качаясь.— Мишуху Смирнова... Помню, сапоги ему шил на самую большую колодку, и то малы оказались. Такого мужика залобанили... Коля Мокрынин... тот, бывало, все ко мне ходил... Ванюха-Варза, Петька Марьин, Олешка Балашов, твоих двое... Эх, маткин берег, оскоблили деревню подчистую.

Иван Тимофеевич долго сидел у Ярыки. Под конец они оба совсем охмелели, сапожник начал свежую осьмушку махорки, и в избе плавал сизый слоистый дым. В это время на улице заколотили зубом от бороны по отвалу.

— Выходи на собранье! На собранье!.. Бабы, на собранье!..— кричала бригадирка.

Общее бригадное собрание было в зимовке Ивана Тимофеевича. До самых сумерек говорили насчет весеннего сева, а когда расходились, то над деревней легонько и умиротворенно шел первый теплый дождь.

Земля, словно невеста в разлуке, томилась за всеми околицами, готовя себя к счастливому обновлению. За гумном, как и всегда по весне, шумел и бурлил пузыристый Ярыкин ручей. Что-то радостно и тревожно всю ночь пробуждалось в теплом тумане.

Утром Иван Тимофеевич надел новую рубаху, обулся и примерил холщовые рукавицы-однорядки, сметанные Михайловной еще в зимнюю пору. На душе было и горько и празднично. Опять вспомнилась предвоенная весна, когда вот в такую же пору он вместе с двумя старшими сыновьями выехал на старый Тимохин отруб. Младший был тогда еще подростком, и его учили пахать. В крепких промазанных сапогах, с деревянными лопатками для очистки отвалов, все ядреные, сыновья настраивали плуги, подгоняли упряжь и походя прихватывали за бока девок-бороновальщиц. А какие были кони в бригаде! Как ровно шла в борозде раскормленная Свербеха!..

С такими думами Иван Тимофеевич вывел Свербеху из конюшни. Она еле переставляла свои громадные копыта с мохнатыми щетками; только и остались от Свербехи, что эти громадные, как блюдо, копыта.

Пахать всегда начинали с Тимохина отруба. Здесь раньше всегда сходил снег и подсыхали загоны. Иван Тимофеевич с трудом, но радуясь, выкатил из гумна плуг; своим еще довоенным ключом прикрутил лемех с коляской и запряг. Грачи, чувствуя новизну, уже нетерпеливо прыгали невдалеке.

— Ну-ко, милая! Ну-ко!..— ласково сказал Иван Тимофеевич, втыкая лемех в закраину борозды.

Свербеха умно и умело встала в борозду. Она, слегка косясь назад, ожидающе навострила сивые уши.

— Ну, начали благословясь...

Свербеха дернула, прицеп напрягся, и лемех пока-то вполз в глубь влажной земли. Но лошадь тут же остановилась. Снова дернула и опять встала. Дрожа мускулами тощих ляжек, она с тихим ржанием оглянулась на Ивана Тимофеевича. Он подошел к ней, поправил седелку, погладил печальную лошадиную морду.

— Давай, матушка, давай, надо ведь...

Она, качаясь из стороны в сторону, прошла шагов десять, потом еще десять, потом еще... Темная полоса земли тянулась все дальше, и первый грач уже слетел на эту полосу, ткнул в нее белым костяным носом.

К обеду они вспахали один загон, соток пять. Когда Иван Тимофеевич почувствовал, что Свербеха сейчас упадет, он распряг ее. Возвращаясь из конюшни, он все думал, где бы еще понаскрести сена, ему было отрадно, и перед глазами все темнел вспаханный загон.

Над полем и деревнями светилось в синем просторе теплое, доброе солнце, в канавах шумели вешние ручьи. Ярыкина баба выставляла в избе зимние рамы.

 Ярыка сидел на крыльце и издалека просил у

почтальонки газетку сначала поглядеть, а потом на курево. Почтальонка как-то боком подошла к крыльцу вместе с Иваном Тимофеевичем, не поздоровалась почему-то и торопливо ушла, сунув ему в руки какую-то бумагу. У Ивана Тимофеевича затряслись руки, когда он начал читать. Солнце покатилось и перевернулось вместе с небом, деревня перевернулась крышами вниз, и Иван Тимофеевич в беспамятстве опустился на Ярыкино крыльцо.

— Левонида! Левонида убило! — закричал Ярыка, и вся деревня сбежалась к этому крыльцу.

Плакали все до одного, плакали навзрыд о погибшем на чужой стороне за три дня до конца войны.

Не было тут только Михайловны, матери этого последнего. Когда ей сказали о Леониде, она встала из-за стола и, безумно озираясь вокруг, прошла к шестку, взяла зачем-то пустой чугунок, начала старательно складывать в него клубки, ложки, облигации, тряпки...

Через неделю она тихо умерла в своей бане, пахнущей плесенью и остывшими головешками.

4

Кое-как прошла неделя. Неожиданно переменилась погода: вдруг из-за леса нахально подул пронзительный сиверко, стремительно понес белые потоки тяжелых снежных хлопьев. Исчезли куда-то скворцы с грачами, солнце потухло и скрылось, и даже шум половодья чуть притих, словно давая потачку уходящей зиме. А зима в последний раз круто распорядилась на земле. Снег летел почти не с неба, а с горизонта, хлестал откуда-то сбоку.

Морозно было даже днями, и могила Михайловны долго не опадала: мерзлая земля так все и бугрилась над приютом солдатской матери. Иван Тимофеевич через день с лопатой ходил на погост, пробуя окидать холмик, но земля не оттаивала.

На седьмые сутки опять хлестал снег. Иван Тимофеевич, опираясь на лопату, шел домой. В поле он остановился и долго глядел на свой дом. Хлопья снега шмякались в бороду и в глаза, таяли, и капли стекали за ворот. Иван Тимофеевич глядел на дом, а дом глядел на него: четыре передних окна желтели крашеными рамами и были похожи на тонконосые лики иконописных угодников. У черемухи тоскливо торчала скворечня.

В деревне было пусто и холодно. Иван Тимофеевич приставил лопату к воротам и пошел на конюшню проведать Свербеху. После того раза он уже не ездил пахать: погода переменилась, да и Свербеха уже третий день сама не вставала на ноги и висела на веревках, привязанных к стропилам.

Еще из ворот Иван Тимофеевич увидел, что веревки от стропил отвязаны. Он подошел к стойлу, дважды тихонько взыкнул, но не услыхал обычного ответного ржания. Свербеха лежала на левом боку и не двигалась. Иван Тимофеевич кинулся к ней, дернул за холку, но тяжелая оскаленная голова была холодна и неподвижна, большие копыта откинуты.

Иван Тимофеевич медленно опустился на холодный лошадиный круп. Из ворот в стойло дунул ветер, шевеля сивые космы Свербехиной гривы, жалобно засвистел в пазах и загулял в холодных стропилах.

 Иван Тимофеевич долго сидел на мертвой Свербехе.

Потом он встал, смотал на руку вожжи, на которых подвешена была Свербеха, и пошел домой.

В небе над полем шла полоса снежной белой крупы.

Старик поднялся по давно не метенной лесенке в сенцы, открыл двери, растерянно, как чужой, огляделл избу. Печь была не топлена, и от этого запах жилья уже уступал неприютному запаху холода и пустоты. С потолка свисала отклеившаяся газетка. У порога валялись стружки и пустая кошкина черепеня; сама кошка еще на той неделе ушла и больше не показывалась.

Иван Тимофеевич, не снимая фуфайку, сел на лавке, сгорбившись, глядел на сучок в половице. Он старался вспомнить всю свою жизнь с того лета, как начал сознавать сам себя, и до теперешней весны, но память путала и переставляла годы, выхватывая из прошлого то одно, то другое. Вот вспомнилось, как родился Ленька, потом вдруг навернулась в памяти та ночь, когда цвел горох за баней, когда из светлых ночных полей долетали голоса девок, потом неожиданно всплыла волчья морда, скрипучий зимник, и вновь замелькали в глазах фиолетовые и белые гороховые лепестки, потом представилось предосеннее поле и Свербеха — молодой игровый жеребенок с круглым задком, с тонкими ножками и с мягкими ласковыми губами...

— Ооо-ох!..

В рамы хлестала свинцовой дробью снежная крупа.

Иван Тимофеевич подошел к комоду, ничего не думая, открыл нижнюю дверку, вытащил пыльную, пять лет никем не троганную гармонь. Он отстегнул ремешки, схватывающие мехи, поставил гармонь на колено.

Печальный рокочущий звук баса родился и растаял в холодной пустой избе. Иван Тимофеевич закрыл глаза, но слезы все равно катились в бороду, большие узловатые пальцы перебирали кнопочки ладов, с тихим потрескиванием раздвинулись склеившиеся мехи.

Шевеля ртом, Иван Тимофеевич заиграл.

Старинная русская игра была нежна и печальна: перебор «Камаринской» угадывался в ней за тоскливым зовом ладов, густые хрипловатые вздохи басов протяжно оттеняли ладовую перекличку, щемящие переходы были целомудренно-чисты, и от всего веяло неведомой силой, неведомой горечью.

Иван Тимофеевич играл и играл с закрытыми глазами, положив ухом на гармонь свою бородатую голову, и мутные слезы резкими капельками катились по лицу.

Никого у него не осталось, только гармонь играла, как живая.

Вожжи в бригаде всегда крутили тонкие, ровные. Иван Тимофеевич взял принесенный с конюшни моток и повесил его в темноте за печку. На другой день он вновь был на могиле Михайловны, окопал бугорок — погода чуть потеплела.

На душе было тихо и спокойно. Он знал теперь, что надо делать, и с тайной грустной лаской смотрел на оттаивающий весенний мир. Водополье, поддержанное снегопадом, опять набирало силу. Снова появились грачи и скворцы. Бабы во главе с Полькой боронили вспаханный Иваном Тимофеевичем участок. Они

 впряглись в борону — восемь баб — и на веревках тас-

кали борону по влажной земле. У конюшни сапожник Ярыка шкурал Свербеху, и ребятишки с корзинками терпеливо стояли рядом. Иван Тимофеевич тоже сходил туда, и Ярыка отрубил ему большой кусок Свербехиного бедра. Иван Тимофеевич знал, что идет по улице в последний раз, что больше никто его не увидит живым, и был спокоен. Он растопил печь и сварил два куска дохлой конины, но есть не стал, начал собираться. Еще со вчерашнего вечера его просили высушить овин прошлогодней, вытаявшей из-под снега тресты.

Иван Тимофеевич взял большую корзину, положил туда чугунок с кониной, спички, вожжи, лучину и вновь вышел из дома.

Уже вечерело. Он пришел на гумно, натолкал дров в окошечко овина, растопил теплину, большую глинобитную печь.

Иван Тимофеевич всегда был мастер сушить овины.

В большой овинной печи затрещали сосновые чурки, овин медленно наполнялся жаром. Пришла редкозвездная майская ночь.

Иван Тимофеевич чувствовал, как за овинной стеной затихали последние отголоски зимы, как шумел уже стихающий Ярыкин ручей, чуял вешние запахи, и все это пеленалось безбрежной и мудрой тайной, тайной смерти.

Он ни о чем сейчас и не думал, горя как будто не было, но не было и ничего другого.

В ушах у него звенело.

Вдруг Иван Тимофеевич услышал скрип воротницы. Он открыл дощатое полотенышко выхода в гумно и услышал Полькин голос. Она стояла с пестерем на плече и окликнула Ивана Тимофеевича:

— Думаю, наскребу немножко коглины[1] на гумне, две коровы лежат врастяжку.

Иван Тимофеевич ничего не ответил. Полька пошебаршила на перевале и зашла погреться. Она встала напротив теплинки. Заслонив красные сполохи огня, с минуту трясла мокрым подолом и вышла.

Иван Тимофеевич подождал, пока не стих стук ее сапог, потом взял из корзины вожжи и сделал петлю. Он вышел из овина, нащупал лестницу, по которой поднимались на овин, приставил ее и с веревкой полез наверх. Он привязал веревку к балке, спустился до середины лестницы, поймал в темноте петлю, дрожащими руками раздвинул ее, надел на шею и приноровился вытолкнуть из-под ног лесенку.

На секунду запечатлелись в голове багровый овинный отблеск и шум полевого ручья. Вдруг истошный женский крик послышался из темноты, и Иван Тимофеевич, каясь в чем-то, толкнул лестницу. Больше он ничего не помнил, зеленые нимбы расплылись вокруг затуманенной враз головы.

— Ой, Иван! Ой, что ты наделал-то, ой!— металась в овине Полька, ища топор. Она нашла топор, скорехонько приставила лестницу, торопливо залезла наверх и наугад, плача, долго тюкала по веревке, пока на подошву гумна не упало грузное тело Ивана Тимофеевича.

Она еле стянула с него врезавшуюся в шею веревку, подтащила его на свет. Иван Тимофеевич не двигался. Она суетилась около, плакала, охала, не зная, что делать. Вдруг кадык у него дрогнул, дернулся один

[1] Коглина (отходы от обмолота льна) — сыпучая масса раздавленных, без семян головок от льна.

раз, другой, и Полька, улыбаясь и плача, с маху кинула веревку в огонь.

— Полинарья, ты?

— Я, Иван, я...

— Не говори, ради Христа, никому.

Полька, вся в слезах, села рядом, положила голову Ивана Тимофеевича на свои коленки, и вся горечь, что накопилась у них обоих, слилась в одно горе, и от этого стало вдруг легче. Чугунок с кониной перекатывался на земляном полу, за овином шумел неутомимый Ярыкин ручей, посинели звезды над гумном, и земля вокруг тихо дышала, дожидаясь человеческих рук.

С ночного юга катилось вал за валом густое, как сусло, вешнее тепло, в темноте у гумна пробивались на свет новые травяные ростки, гуляла везде весна. Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это.

— Не говори, Полинарья, никому...— повторял Иван Тимофеевич эти слова, стыдясь того, что случилось. Он повторял эти слова, подкидывая дров, и огонь в печи набирал силу, как набирала силу первая послевоенная весна.



ЛЮБА-ЛЮБУШКА



1

Даже после захода солнца, когда идешь домой по ночному присмиревшему полю, даже в эту пору снуют над головой и плачут боязливые чибисы. В полевых ложбинах заметно копится туман, все поле звенит кузнечиками, словно сама трава остекленела и звенит без ветра, и хорошо идти домой мимо этих ложбинок и звенящих луговин, хорошо ступать по мягкой дерновой дороге.

О чем так печально кричат чибисы? Они ничегошеньки не понимают, эти полевые птицы с хохолками на головах, они все кричат и летают над тобой и думают, что уводят тебя все дальше от своих гнезд. Но разве страшны для них пропахшие солнцем и высыхающей травой девичьи руки?

В доме светло, будто ночь еще не пришла, а только дохнула легонько из-за рощи. Под лавками и за печкой словно кто-то притих, а на столе таинственно и музыкально-тоненько поет самовар. Чего только не слышится в этом напеве! Присядь на лавку за стол, прислушайся, и твою душу ознобит на секунду холодный посвист январской вьюги, потом самовар тихонь-



ко прозвенит свадебным колокольчиком, потом затихнет и вдруг точно запоет песню неведомого бабьего хора, не спетую еще песню и самую первую песню, которую ни за что не запомнить, так она хороша и так неуловима в этих сумерках.

Со двора приходит с подойником в руке мать. Она в сенях, за открытыми дверями разливает молоко, и слышно, как оно домовито журчит, и кот тяжело спрыгивает на пол, бежит, несмотря на старость, канючит, просит теплого молока. Поет самовар. Не допита чашка чая, босые ноги бесшумно ступают по мягким половикам.

— Мама? Ну что мне с тобой делать? Говорила ведь, чтобы до меня не обряжалась. Я бы сама подоила...

— Ой-ей-ей! — словно не слыша упрека дочери, притворно-плачущим голосом говорит мать.— С горушкой налила молока-то. Иди, прохвост, лакай.

Кот пристроился к молочной лужице. Мать запирает ворота, моет подойник оставшимся в самоваре кипятком, ошпаривает вытащенную из рыльца подойника вересковую веточку.

— Люба, а Любушка? Шла бы, милая, спать, время-то вон уже сколько накачало.

В окошко сенника, затянутое марлей, просочился комар. Он летает где-то в темноте, его жалобный звон то приближается, то удаляется, и под этот звон подступает к изголовью усталая ласка сна. Люба засыпает с улыбкой. Последние впечатления яви перешли в сон, и дождевые капли упали на крышу одна за другой и оборвались, словно многоточие на странице хорошей книжки.

 Под утро над полями и рощей угасли последние

вспышки зарниц. Спят деревни, спит холодная дымящаяся речка. Далеко в лесу призывно заржала лошадь, потерявшая из виду жеребенка, сонно пробарабанил в ответ ночной пастух. Тихо в деревне, но тишина не живет в девичьем сне. Снится Любе большой многолюдный праздник, где переливается множество девичьих лент, откуда-то издалека летит непонятная волнующая музыка, мелькают незнакомые и как будто знакомые лица, и будто бы Люба вглядывается в эти лица, ищет и ждет кого-то, но никак не может найти и дождаться. Она бежит на непонятную музыку, ей не хватает сил, она все глядит в толпу, сердце у нее словно остановилось, вот уже близко, сейчас она увидит кого-то и все будет хорошо, все плывет перед глазами, вот что-то мелькнуло. Ой, только скорее бы, ей жарко, она задыхается и вдруг просыпается от сладкой тревожной боли, с минуту лежит, не двигаясь, словно задерживая счастливый, но исчезающий сон.

Она сдернула марлю с окошечка, и в сенник ударил широкий сноп света раннего утра. Сон прошел, но ощущение сна осталось, и все так же тревожно и сладко таится что-то в груди. Что ей снилось? Праздник? Много народу? Нет, это не то, было что-то другое.

Она торопилась куда-то, хотела что-то увидеть, что-то мелькнуло, потом все исчезло. Но что она хотела увидеть и кто мелькнул? Нет, лучше не думать, и она, одеваясь, старается думать о другом, но волнение и радость, испытанные и пережитые во сне, остались и перенеслись в будничную явь.

* * *

Далеко во все стороны раздвинулось и дрожит от жары небо. Мглистая синева, лиловая по бокам облаков, заслонила полсвета, и солнце плавает в ней с утра до вечера, а ветер вздыхает на зеленой земле. Пошевелит траву, поканителит голубую воду в реке, потом вдруг бережно опахнет лицо прохладным неуловимым касанием.

Давно уже, нелепо задрав на спину свои хвосты, прибежали в деревню коровы, стоят в холодке большого старого хлева, а вокруг хлева, на жаре, летают оводы.

По деревне бродят за петухом курицы, либо лежат в горячей, как зола, дорожной пыли. А петуху жарко и даже лень орать. Пахнут теплом хлебные клоны у дороги. Осока у моста притихла, когда фура с навеянной рожью простучала по настилу и остановилась.

Люба подвязала вожжи к тележному передку, поглядела из-под руки на солнце. Потом она спрыгнула с фуры и на минутку сбежала к воде. Тут, у самого моста, река раздваивалась, и край тростникового острова прятался под самым мостом.

— Ой, как пить хочу, умираю! — Агнеюшка тоже сбежала к реке, скинула башмаки, не стыдясь, заголила белоснежные ноги.

Подружки побрызгались немного и присели на большой камень под мостом.

— Жарко, Агнеюшка...

Люба, нежась, прислонилась щекой к Агнейкиной.

— Знала бы ты, какой сон мне ночью сегодняшнею приходил...

— Опять, наверное, города всякие. Ой, Люба, и чего ты все задумываешься?

— Я и не задумываюсь...

— Нет, задумываешься. Чуть немножко, так и задумываешься. А я вот не задумываюсь, а возьму да наревлюсь досыта, и все. Опять потом хохочу целую неделю.— Агнейка болтанула ногой в воде, напевая другим голосом:

Это, девушки, не озеро,
Не озеро — река.
Это, девушки, не парень —
Половина дурака.

И выбежала на травяной берег, буравя коленями прозрачную воду.

— Люба, гляди-ко, ухажор-то наш идет, вырядился как на смотрины.

С того конца моста вышагивал в ботинках и клетчатой рубахе Африха. Он плюнул через перила, поздоровался за руку с Агнейкой и Любой, переступая с ноги на ногу.

— Чего, фуру возите?— спросил он.

— Фуру,— сказала Агнейка.— Ты разгуливаешь, а мы за тебя возим. Чего вырядился-то?

— В сельсовет ходил насчет справки.

— Я думала, ты расписываться ходил.

— Агнейка! Намну дуру!

— Думала, вот напляшемся с Любкой на Афришкиной свадьбе.

— Намну!

— Думала...

Африха кинулся к Агнейке, обхватил ее за поясницу. Агнейка завизжала, но не успела опомниться,

как была уже на траве, и Африха деловито комкал ее и жамкал, потом, довольный, отступился.

Раскрасневшаяся Агнейка запыхалась, но как ни в чем не бывало тут же спрыгнула на ноги. Лицо ее разрумянилось еще больше.

— Думала...

Африха сделал движение в ее сторону, и Агнейка опрометью бросилась прочь от него, потом опять подошла близко.

— Любка, хоть бы ты заступилась.

Африха покосился на Любку, закурил.

— Да, чуть не забыл. Вам с Агнейкой липинские девки записку со мной послали. Зовут сегодня на гулянку. Меня звали, да я сказал, если наши девки пойдут, так и я пойду. Сходим, что ли?

— Люб, пойдем, а? — подскочила Агнейка.— Давно уже в Липине я не бывала. Может, и заболотские придут.

— Это точно,— поддержал ее Африха,— заболотские со своей гармонией обещались.

— А что заболотские-то? — Люба обернулась к Африхе.— Я ни липинских, ни заболотских не видывала. А матюкальных частушек так и дома наслушаемся.

— Нате записку-то,— сказал Африха,— вы как хотите, а я пойду и один. Заходите, ежели надумаете.

И Африха пошел к деревне по-над канавой, тропинкой, обросшей подорожником. Люба развернула записку. На листке из школьной в клеточку тетради было написано приглашение приходить к таким-то часам в Липино, к такому-то дому.

— Сходим, Агнеюшка?

Агнейка запрыгнула на телегу, отвязала вожжи, протараторила:

— Любушка, можно мне вечером твои белые босоножки обуть?

2

Лесными теплыми покосами, через песчаные ручьи и брусничные горушки, то раздвигаясь, то вновь сливаясь, льнет к земле липинская дорога. Раза два за лето проедет кто-нибудь по ней на двухколесной телеге, спугнет тяжелых на подъем глухарей, и вновь явственно обозначатся две колеи и тропа посередине.

Что для молодых ног восемь веселых километров?

Босиком, с завернутыми в газету босоножками бежит впереди всех крепконогая Агнейка, шлепает комаров и нагибается иногда, чтобы обруснуть красную капельку земляники. На Агнейке черная новомодная юбка и красная кофточка, жакетку она погрузила на Африху. Африха где-то отстал, чтобы вырезать ивовый батожок, а может, еще по какому делу.

За лесом уже садится солнце. Пахнуло сухим сеном, потом разогретым за день малинником, потом смолистой еловой поленницей.

Люба чуть подобрала свою тоже черную юбку, когда переходила усохший ручей. Комары так и налетали. Выдумщица Агнейка, передразнивая Африху, запела ребячьи частушки:

Запевай, товарищ, песенку
Веселым голоском,
Чтобы слышали сударушки
За темным за леском.

Голос у Агнейки приятный, особенно в лесу, когда песня отдается в сухом сосняке.

Мы с товарищем ходили
За реку по мостику,
Двух девчонок завлекали
Небольшого ростику.

Солнышко совсем спряталось, трава чуть отмякла, и комары налетели еще гуще.

— Ой, всю искусали,— допела частушку Агнейка и — снова ребячьим голосом:

Все курил, курил махорочку,
Тепере папирос,
У милахи носу не было,
Севогоду прирос.

Позади, за поворотом откликнулся Африха:

— Девки! Тут напрямую можно, ближе намного!

Сшибая на ходу шляпы маслят, он догнал девушек, подал Агнейке жакетку.

Свернули на прямую тропу, которую знал Африха. Он шел, дымя папиросой, махая красивым ивовым батожком. Вокруг батожка вилась белая полоса вырезанной коры. Африху вроде и комары не кусали.

Тропа вывела на скошенное стожье. Посередине стожья стоял набитый сеном сеновал. За ручьем была поскотина, дальше белел туман большого липинского поля. Когда вышли к реке, Африха прислушался. Со стороны деревни никаких звуков не слышно было. Люба спустилась к воде, чтобы помыть ноги.

— Стыд-то какой. Всех раньше пришли,— проговорила она, но в деревне вдруг сначала тихо, потом громче взыграла гармонь.

Агнейка так вся и переменилась.

— Африш, ну-ка отвернись, да смотри не оглядывайся.

— Подумаешь, прынцесса,— Африха сел на луг, равнодушно отвернулся, закурил, пока Агнейка и Люба надевали чулки.

Туманом густо заволакивало реку, кричал дергач. Гармонь в Липине вдруг затихла. Но Люба знала, что затихла она ненадолго, был как раз тот момент, когда в деревне из дома в дом перебегали девушки, а ребята всем гуртом сидели у кого-нибудь в избе. Пройдет минут пять, и мальчишки, играющие на улице «в муху», остановят игру и замрут, завистливо глядя на старших.

* * *

Улица словно расцвела, от посада до посада. В ночных сумерках зачернели ребячьи фигуры, и гармонист играл так хорошо, что у Любы вдруг дрогнуло что-то в груди. У Агнейки тоже. Из поля, с другого конца деревни, шли заболотские. Они сначала прошли по всей деревне. Липинские ребята почтительно уступили им улицу. Заболотские вернулись на середину, остановились у большого опушенного дома. Пока ребята здоровались, девушки охорашивались в сторонке под черемухами.

В большом ребячьем кругу сгрудилось много людей, и Люба с Агнейкой подошли туда. Гармонист был тот же самый, он торопливо загасил о каблук папиросу и надел на плечо ремень. Плясать пошли двое заболотских ребят, а в это время в другом кругу плясали липинские девчата под игру своего гармониста:

Африха подался к тому кругу, а Люба с Агнейкой остались. Люба закрыла глаза на секунду. Гармонь часто вздыхала басами, переливы ладов вырывались из толпы и затухали в черемухах, говор людей сливался в один постоянный звук, было тепло и тревожно, как в минувшем сне. Она открыла глаза и вдруг замерла от волнения: прямо на нее обернулось темнобровое лицо незнакомого невысокого парня. Он стоял рядом. Отвернулся почти сразу. Люба тоже отвернулась, но вновь тут же ощутила его взгляд, почувствовала, что быстро краснеет, и затеребила платок, не слыша Агнейкиных слов.

— Люба, пойдем плясать, слышь,— торопила ее Агнейка.— Что мы, хуже других, пойдем — и все.

Агнейка протолкалась к самому гармонисту, он заиграл потише и на Агнейкин шепот ответил согласным кивком. Но Люба ничего этого не видела и не слышала. Она была словно и не она, как будто было две Любы: одна тут, а другая где-то. Она не смела взглянуть на соседа, а он все стоял рядом.

На круг вышла Агнейка. Все сразу обернулись на нее, статную, живую. Гармонист тут же сменил игру. Агнейка приостановилась и щемящим чистым голосом пропела частушку:

Ой ты, веночка усталая,
Играй тихонечко,
Голосок не позволяет
Песни петь нисколечко.

Круг сразу стал уже от того, что задние хотели посмотреть, все сгрудились теперь около этого круга. Агнейка приостановилась напротив Любы и снова пропела:

Девушки, зима не лето,
Не посеешь в поле рожь.
Девушки, не наша воля,
Не полюбишь кого хошь.

Плясала Агнейка всегда хорошо, особенно под настоящую игру. Люба чуть осмелела, хотя по-прежнему что-то сладкое и тревожное румянило щеки. Она подумала, что будь что будет, но Агнейку нельзя подводить, придется выходить на круг.

Запевай, подруга, песни,
Нам никто не запоет,
Невеселое-то времечко,
Не скоро, да пройдет.

Выходи, подруга Люба,
На половочку ко мне.
Мы с тобою сиротиночки,
Гуляем-то одне,—

пропела Агнейка и встала на Любино место. Люба вышла на круг. Никогда еще не плясала она при таком народе, никогда ей так легко не дробилось и никогда так не навертывались в ее памяти самые хорошие частушки. Она плясала и видела, как смотрит на нее широкоплечий красивый парень, видела, как он закуривал с Африхой.

Люба прошла последний кружок и вышла с Агнейкой из толпы.

Они тихо пошли по улице. По-прежнему играли две гармошки. Вся деревня притихла, только у двух больших домов было людно, начиналась уже роса. Пропел чей-то петух, заскрипели чьи-то ворота. Люба не слышала, что говорила Агнейка, ей хотелось то ли по-

плакать, то ли запеть, то ли птицей взлететь с пригорка над белым туманом.

Поет, и жалуется, и смеется веселая заболотская гармонь, кричат бессонные мальчишки, одна за другой рождаются и умирают в хороводе частушки.

Ой, какая хорошая деревня Липино! А где же это таинственное Заболотье? Это где-то километров за восемь отсюда, еще дальше, и Люба никогда еще там не бывала.

Далеко за полночь гулянье понемногу пошло на убыль, поредел круг, затихла одна гармошка, и Африха подошел к Агнейке, предложил идти домой. Никому бы на свете не сказала Люба о том, как ей хотелось спросить у Афришки, с кем это он закуривал.

А Агнейка, как назло, всю дорогу говорила про заболотских.

3

Восход за восходом покатилось к осени Любино лето. Отцвела и увяла земляника, прошли сенокос и уборка, закраснела уже и рябина под окнами, а мир все так же, как и в ту липинскую ночь, был полон глубокой сладкой тоски.

Люба все время думала о темнобровом сероглазом заболотском парне. По многу раз на день она глядела в липинскую сторону. Там, где терялась в лесу липинская дорога, стояли два стога и темнела большая островерхая елка. Прежде чем посмотреть на эти стога и елку, Люба оглядывала другие места зубчатого лесного кольца. Оно было однообразным, тянулось далеко и одинаково, пока взгляд не встречался с теми стогами. Тогда Любу снова охватывало щемящее волнение.

Вскоре пошли дожди, и стоги из темно-зеленых превратились в желто-серые, зато ель еще яснее стала выделяться своим сизо-зеленым конусом.

Волнение охватывало Любу и в то время, когда кто-нибудь при ней упоминал в разговоре Липино и Заболотье, но особенно нетерпеливо билось сердце при виде всего того, во что была одета Люба в тот вечер. Черная юбка и крепдешиновая кофточка лежали в комоде, и Люба часто без нужды вынимала и гладила их. Ходить в них было некуда.

В Липине больше гуляний не собиралось, а в Заболотье не ходили даже ребята. На своих же гуляньях Любе было и раньше не больно весело, а теперь и вовсе стало скучно.

Зато Агнейка бегала каждую субботу, Африха «рекрутился», собирался на службу. Оба они давно забыли про липинскую гулянку. Но даже глуповатый Афришка казался Любе при встречах милым и хорошим, вызывая в сердце то же щемящее волнение, особенно когда закуривал. Ведь они вместе с заболотским прикуривали тогда от одной спички! И, конечно, они знали друг друга.

Однажды Люба проснулась под утро от радостной горечи хорошего сна. Ей вновь снился тот большой праздник, вновь играла и звала к себе непонятная волнующая музыка, и Люба шла среди большой толпы навстречу серым заболотским глазам, шла, не стыдясь, она видела, знала, что это он, и вдруг проснулась и через минуту беззвучно заплакала. Это было через три месяца после липинского гулянья, когда речка от дождей стала по-весеннему полноводна, по-весеннему же, хотя и не очень рьяно, токовали полевики и дым из труб шарахался на росу и на грядки.

Была та пора, когда по оголенным лесам свистят рябчики, замирают в еловых лапах сонные вздохи ветра, тихая мгла белеет на всех горизонтах и начинается царственный отдых осенней земли.

* * *

Бригадир еще со вчерашнего вечера направил Любу с Агнейкой копать картошку. К резиновым ботам и к лопатам налипала грязь, пальцы сводило от мокрой стужи. Агнейка, с выбившейся из-под платка косой, сильно вдавливала лопату в землю и выворачивала картофельный куст. Клубни были мелкие, с ржавыми пятнами картофельной коросты. Люба кидала их в корзину и часто разгибала спину. К обеду едва накопали около трех кулевых мешков.

Агнейка присела отдохнуть на мешке.

— Опять Афришки долго нет.

Люба взглянула на подружку.

— А что он тебе, Афришка-то?

— Да так. Он картошку должен возить...

— А вон он идет. На помине, как сноп на овине. Опять куда-то ходил.

Из-за гумна и в самом деле вышел Африха, шелестя дождевиком, сел рядом с Агнейкой.

— Все, девки,— сказал он весело,— забрили, двадцатого в отправку.

Агнейка сначала не поверила, сказала «не мели», потом замолчала, глядя на Афришку уже другими глазами.

— Правда, Африш?

— Ну что я вам, врать буду? Вместе с Костюхой из Заболотья в сельсовет вызывали.

У Любы покраснели щеки и часто заколотилось сердце.

— Из Заболотья?— тихо спросила она.— Какой это из Заболотья?

— Да помнишь, небольшой такой, в Липине еще мы вместе стояли. Мы с ним с одного года. Вместе будем отправляться. Ко мне придет он на отвальную...

— Люб, ты чего, Люб?— Агнейка кинулась к Любе.

...Ничего не видя и не слыша, Люба напрямую без тропинки пошла к деревне. Еще больше все в ней перемешалось, когда она взглянула на приколотый у зеркала численник: на листочке была цифра семнадцать.

* * *

Все эти три дня слились для нее во что-то одно, короткое и счастливое, тревожное и радостное. Каждый день приходила Агнейка. Она перебирала Любины платья и, давно обо всем догадавшись, сообщала новости: Африхина мать заварила пиво и вымыла пол, сам он зарезал к двадцатому ярушку, и на отвальную вместе с Костей придут еще двое липинских.

Накануне Люба почти всю ночь не смыкала глаз.

С утра мать ушла на болото за клюквой, и Люба весь день была одна, потом прибежала Агнейка. Она мигом нащепала лучинок, развела духовой утюг.

— Ой, Люба, куда-то у меня голубая лента девалась, весь день ищу, ищу, не пила не ела, а толку нет.

— Да вот же, у меня она, голубая.

Агнейка прискочила от радости и быстро поцеловала Любину щеку. Люба, опустив большие ресницы, медленно заплетала косу. Агнейка подошла к ней, неж-

но обхватила ее плечи своими белыми от локтей до плеч руками, прошептала на самое ухо:

— Ой, Любушка... Афришка говорит, чтобы я села за столом рядом с ним. А я говорю, если Люба будет с другой стороны, так сяду, а то ни за что не осмелиться... Ну-ко, вся родня будет глядеть. А ну, подумаешь, пусть глядят! Смотри, кто-то идет из отвода.

Агнейка кинулась к окну.

— К Афришке идет. Люба! Смотри!

Но Люба в это время вдруг закрыла лицо руками и встала у шкафа, отвернувшись, как неживая. Она еще раньше Агнейки увидела его. Большим, еще неизведанным счастьем, как горячим летним ветром, опахнуло ее всю до последней кровинки.

* * *

В большой Африхиной летней половине уже собралась молодежь, когда в зимней половине усаживалась за стол родня и призывники, которые вместе с Африхой уходили в армию. Налили по стопке, но все сидели, пока Африха бегал за Агнейкой и Любой. Он, в новом костюме, уже остриженный и непохожий на себя, вбежал в дверь к Любе:

— Ну чего вы прохлаждаетесь? Одних вас и нету. Люб, дай-ко тарелок и ложек, у нас недостает.

Агнейка завернула тарелки и ложки в полотенце, и все трое вышли из дома. Поднимаясь по ступенькам Африхиного крылечка, Люба услышала застольный говор, услышала гармонь, что играла в летней половине.

— Во, во! Славутницы наши, честь и место! — радостно зашумел из-за стола Африхин отец.

 Люба, ничего не помня, села за стол. Пока все чо-

кались и шумно переговаривались, она один раз взглянула на Костю, он тоже в это время смотрел на нее, улыбнулся. Люба покраснела, поставила рюмку с красным вином на стол и вся затаилась от счастья, от большой своей радости и волнения.

В Красну Армию, ребятушки,
Дорога широка.
Вы гуляйте, девки-матушки,
Годов до сорока,—

пел Африха, останавливаясь посередине летней избы, и гармонист вновь широко раздвигал мехи гармони, и вновь шел Африха по полу, останавливаясь и чуть притопывая, снова пел:

Не обидно ли тому,
У кого пляшу в дому.
Дрыгай, пол и потолок,
Пляшу последний вечерок.

Переплясал Африха уже со всеми: с отцом, с Агнейкой, с липинскими ребятами. Только Костя не выходил на круг. Он стоял у косяка, стыдясь остриженных волос.

Народу набралось много. Сквозь звуки гармони и частушки слышались разговоры и смех, и все это сливалось в один праздничный гул, и кто-то в этом гуле уже заводил столбушку, потом другую.

В кути, за печью, за переборкой в темноте поставлены были скамейки и табуретки, занавешенные одеялами. Люба видела, как Африха с Агнейкой завели еще одну столбушку, в самом темном и тихом месте. Они пошушукались для виду, и вскоре Африха вышел на свет, подошел к Косте, шепнул ему что-то на ухо.

Костя боком прошел в темноту. Люба знала, что сейчас, через недолго выйдет Агнейка и велит идти туда, к нему, и тогда будет то счастье, которого так долго ждала Люба, о каком думала всегда и жила для него.

Минут через пять вышла Агнейка. Ласково поглядела на подружку и глазами показала на то место, где ждал Костя. Люба, как во сне, прошла туда, присела на стул. Костя нежно и смело поймал ее горячую руку.

Где-то на свету снова плясал Афришка:

Некрута-некрутики,
Ломали в поле прутики,
Ломали да и ставили,
Сударушек оставили.

4

Наутро выпал снег. Его первородная чистота была похожа на Любину любовь: ни одного пятнышка, ни одной соринки не заметишь на белой крыше Африхиного дома, на улице и везде, куда ни посмотришь.

И вот по этому снегу зачернели вдруг две глубокие колеи от колес. Они протянулись от Африхиного крыльца в отвод, потом в поле и затерялись в холодных притихших окрестностях, затерялись на три долгих года.

Если бы только на три!

Агнейка и Люба стояли на крыльце и смотрели в поле. Прижавшись друг к дружке, они молчали, думали об одном и том же.

— Пойдем, Любушка...

Агнейка, не осушая своих слез, вытерла платочком побелевшее Любино лицо, смахнула с ее лба прядку от косы.

В прядке крохотными бисеринками поблескивали тающие снежинки.



НА РОССТАННОМ ХОЛМЕ



Они уходили все дальше и дальше купаться на Синий омут. Мария еще глядела туда, пытаясь по платью узнать, которая из них дочка, но они исчезли в пойменной зелени. Ветер вздохнул оттуда, из далекого понизовья. Она услышала девичий смех, визг и ребячий свист, но ветряной выдох погас, и в лугах стало жарче от безлюдья и тишины.

До вечера было еще далеко, потому что стога сметали раньше времени. Она прибрала оставшиеся на лугу чьи-то босоножки и брошенные вверх зубьями грабли. Потом вытряхнула из платка сенную труху и непроизвольно залюбовалась тремя одинаковыми стожищами, и ей хотелось поохать и подвигаться, такие большие, пригожие вышли стога.

«Ах, детки, детки...» — она сглотнула материнскую радость. Опять вспомнила про дочку и как метали студенточки сегодняшние стога. Все свои, деревенские, подумалось ей, а дома ни одна не живет. Но вот собрались вместе, и сразу выплыло в глазах все земляное, родимое, шибче забегала кровь, не надо красить-румянить ни щеки, ни ноготки...

Последний, самый матерый стог дометывала Мария с дочкой и Сергеем — едва оперившимся соседским сы-



ном. Мария стояла на стогу. Сережка подавал сено вилами, а дочь загребала остатки копен и очесывала стогу бока. Когда стог начали вершинить, Сергей вдруг покраснел и ушел, будто бы вырубать тальники. А дочь, ничего не поняв, недовольная, тряхнула головой, закинула овсяные, по отцу, волосы.

— Не ругай ты его, не ругай,— про себя ухмыляясь, вступилась за парня Мария. Она приняла от дочки последние навильники и обвершинила стог. После этого привязала тальниковые ветки к стожару, чтобы по ним спуститься до шеста от носилок, а уже по этому шесту спуститься на землю. Такой аккуратный высокий сметали стог.

— Отвернись-ко, Сережка,— нарочно, подзадоривая, сказала Мария, хотя видела, что парень и так сидел затылком к стогу. Знала она и то, что Сережка хоть и глядел в другую сторону, но даже затылком видел, как она слезала со стога. И опять про себя ухмыльнулась: у кого в его годы не кипятится кровь, стоит увидеть женскую ногу выше колена. Так уж в природе все устроено, да не беда и то, что дочка такая еще непонятливая, заругалась на парня, когда он вдруг не стал дометывать стог.

Теперь все они ушли купаться на Синий омут.

Окрест махалось ветками молодое, еще не окрепшее лето. Темнела синева реки, мерцала вдали солнечным гарусом; искаженные зноем, трепетали неясные горизонты. Мария, ища себе дела, снова обошла луговину. Но все было сделано, и она тихонько вышла на Росстань.

Полуденный зной начал уже спадать, в дальнем березняке то и дело смолкала кукушка. У своего серого камня Мария легко взяла из валка беремечко полупро-

сохшей вчерашней травы. Косое, сбывающее жар солнышко уже свернулось в клубок и опускалось к дальним лесам, ветер стихал.

Никого не было кругом, и здесь, на Росстани, так далека, неоглядна показалась родная равнина. Песчаная дорога стекала с холма, и чем дальше стекала, тем круче становились ее загибы, и наконец, истонченная в поясок, она пропадала за последним, еле видным увалом.

Мария прищурясь глядела на этот увал и чуяла, как вместе с усталостью на нее накатывалась радостная тоска. Этой тоской застарелого, прочного ожидания проросло ее сердце, как корнями трав проросла вся Росстань — высокий полевой холм, где испокон веку расставались разные люди. Отсюда дальше уже никто не провожал уходящих, а те, что уходили за Росстань, считали себя не дома и больше не оглядывались.

Мария давно не приходила сюда. Сейчас ей было совестно перед мужем, она еще раз перетряхнула платок, расчесала и увязала волосы, отцепила и положила на камень сережки. Стараясь пореже взглядывать на увал, где терялся песчаный путь, она вздохнула и празднично притаилась. Словно и не было двадцати пяти лет между этим предвечерним сенокосным часом и тем, горьким, ясным, тоже сенокосным: она просто ждала мужа и знала, что он придет. И Марии не было дела до того, что на Росстани двадцать пятое лето ковали кузнечики, двадцать пятый раз пожелтели высокие лютики.

Она не знала, сколько времени просидела на камне.

Лютики желтели неясно, то ли сквозь полузакрытые выгоревшие ресницы, то ли сквозь пелену радостных слез, что копились сейчас в глазах. Мария словно

во сне сидела на камне, ее обступали по очереди ясные, будто вчерашние видения. Легко, без зова, пришло и самое первое воспоминание, оно прояснило, высветлило долгий как вечность мартовский день с бурой от конского назьма рыхлой дорогой, с умирающими на теплых задворках суметами. Ничего вроде и не было особенного. Был просто этот долгий день, пронизанный вешним солнышком. Вороны и галки в тополе базарным криком будили еще холодную Росстань, они даже не испугались, когда маленькая девчушка в больших валенках и в материнских рукавицах впервые вышла на полевой холм. От взрослых она часто слышала это таинственное слово: Росстань. И вот, набравшись сил и упрямства и детской непосильной смелости, она одна, без взрослых, пришла из деревни и восхищенно поглядела вниз и вдаль. Мартовский тугой ветер помог восторгу перехватить детское дыхание, она чуть не задохлась, напористый воздух долго не давал ей дышать. А там, внизу, куда уходила зимняя, живущая последнюю неделю дорога, везде белели белые увалы и обросшие кустами ручьевые и речные пади. Тогда она еще и названия не знала всему этому простору, всей этой необъятности, запомнилось только что-то бесконечное, солнечное. И она, вспомнив маму и теплую печку в избе, испугалась тогда этой необъятности, заплакала и побежала обратно к деревне.

Сильные, пахнущие снегом и лошадью рукавицы подхватили ее и усадили на дровни, и соседний мужик, везя ее в деревню, на ходу рассказывал ей сказку про золотое яичко. И она медленно, успокоенно смеялась, глядя на завязанный узлом лошадиный хвост, и это было все, что запомнилось.

Мария улыбнулась тому дню, опять взглянула на

увал, где терялась дорога. Никогда, ни разу с того часу, как муж ушел на войну, не приходило ей в голову то, что он не вернется домой. Она знала, что он живой, и ждала его ровным, не спадающим ни на день ожиданием. Сейчас ей хотелось поприčитать, но она вспомнила ту майскую Росстань, когда цвела черемуха и ребята, положив гармошку, играли у этого камня в бабки, а она вместе с девками пела первые частушки, ломая черемуху. Незадолго до этого над Росстанью взлетел первый жаворонок, чибисы запищали вверху и тальники в понизовьях очнулись, напрягая вешними соками стыдливо позеленевшие прутики.

Такая счастливая была та весна, что по ночам никому не хотелось спать и по воскресеньям Росстань всю ночь слушала гомон гулянок. Марии не было еще и восемнадцати. Но однажды она ушла отсюда самой последней, на теплом восходе. Они не стыдясь прошли по улице спящей деревни, и в его раскаленном, как камень, кулаке остался белый, вышитый по краям платок — первый ее подарок. И свадьбу не стали откладывать до зимы...

Мария вздрогнула от острой и горькой радости. Громадная тень от холма заполняла всю покатую луговую равнину, солнце садилось. Рядом прогудел ночной жук; дальний увал, где терялась дорога, заволокло сумерками.

Свадьбу отгуляли наскоро, хотя и весело, дело было уже перед самой сенокосной страдой. Она помнила тот сенокос очень смутно, явно запомнился только один дождь, когда она с мужем метала стог и когда копны не успели сносить к одному месту. Тогда Мария увидела дождь и в испуге всплеснула руками: батюшки! Милые! Сена не убрано несметная сила, сухого, зелено-

го. Вся Росстань и все низовые луга были скошены, а темное небо копило много, много дождя. На глазах быстро темнела западная сторона. Кое-кто еще торопился, кое-где еще мелькали на густо-синем небе враз поседелые бороды навильников, но было ясно, что ничего уже не успеть и никуда не уйти от потопа. Еще не было слышно громовых раскатов, а там, в опаловых облаках, заносчиво и нахально уже клевались ядовито-белые молнийки. И Росстань притихла, готовясь принять на себя грозовые удары. Мария помнила тот час ясно до последней минутки. Все почернело, когда она с мужем бежала в деревню, все омертвело. Цветы на лугах и клевер. Закрывались белые одуванчики, исчезли пчелы, и воробьи не возились в заокольной траве. Враз во многих местах бухнули, раскололись черные западные небеса, и какая-то струнка в душе тонко заныла и оборвалась, не найти кончики, не связать...

Мария вытерла щеки и улыбнулась. Солнышко село, нигде не было ни души, только дорога, как живая, убегала к увалу. Мария еще раз оглянулась вокруг — нигде на много верст никого не было. Она встала на колени рядом с камнем, кусая губы и качая головой, поглядела на пустынный дальний увал. Сцепив ладони над лбом, она ткнулась головой в траву, распрямилась и запричитала: «Ой, приупали белы рученьки, притуманились очи ясные, помертвело лицо белое со великого со горюшка. Как ушел ты, мой миленькой, не по-старому да не по-прежнему, во солдатскую службицу, по конец света белого, по край красна солнышка».

Она причитала легко, не останавливаясь и не напрягаясь. Слова причета свободно веялись в чистом голосе, слетали, будто, нескудеющая, крошилась в мир

невозвратимыми крупицами сама ее душа, и чем больше крошилась, тем отраднее было и легче.

Мария словно вся переплавлялась в свой же голос. Она понемногу переставала ощущать сама себя, и уже нельзя было ничем остановить этого, причет жил как бы помимо нее: «Ой, остригли буйну голову, золотые кудри сыпучие, как на каждой волосиночке по горючей по слезиночке. Тебе шинель-то казенная не по костям, не по плечушкам, сапожки-то не по ноженькам, рукавички не по рученькам. На чужой-то на сторонушке все-то версты не меряны, все народы незнакомые, ой, да судьи немилостивы...»

Белая, такая же ночь была и тогда. Он уезжал на войну вдвоем с Павлом, а Мария провожала их до Росстани. Пока телега с пьяным Павлом спускалась вниз, Мария стояла на холме, и муж, держа на ее плече тяжелую руку, мусолил цигарку и все не давал Марии реветь, а она слушалась, затихала, но через минуту снова голос ее прорывался, и он опять успокаивал. Стучала все дальше и дальше телега с пьяным спящим Павлом, звездные вороха висели над ними. Сиреневотемное небо, если приглядеться, рождало новые россыпи звезд, дух теплого клевера мешался с прохладой еще не набрякшей росы. А муж обнял Марию торопливо и, как ей показалось, жестко и неласково. Без огляда пошел с холма, а она даже не упала у этого камня, потому что ждала его через месяц обратно, самое большое через два.

Но пришла осень, а война разгорелась еще шире, не одна товарка стала вдовой, и страх по ночам часто душил Марию. Она возила тогда зерно, каждый раз возвращалась ночью, и ей чудилось, что на Росстани скулит и стонет нечистая сила. Точили во тьме тихие

бесконечные дожди, под колесами всхлипывали дорожные лужи.

А утром однажды наползла на Росстань коричнево-серая мгла, крупные плоские снежины полетели на землю, будто небесная перхоть. Пришла зима, да и не одна, а привела за собой еще зиму, другую, третью, и все голодные, такие жестокие, что чем дальше они уходят в прошлое, тем кажутся страшнее.

По зимам на Росстань слетались всякие ветры, они наскакивали то с этой стороны, то с этой. И долго, жутко мятутся на склонах сухие снега, заносят прощальный камень, хоронят дорогу в один полоз. Мороз по ночам будто стекленил мягкие с осени звезды. Круглолицая недобрая луна бесшумно стелила по голубоватым снегам мертвую желтизну, а днями, растопырив громадные уши, вставало холодное солнце, замерзшие птички камушками падали в снег.

В такую зиму, глухой ночью, Мария ходила как-то в баню. Павел, двоюродный мужний брат, ждал ее у крыльца дома, стоял с засунутым в карман пустым рукавом полушубка. Вся деревня спала, а он не спал, стоял у крыльца.

Мария обошла его, как косец в поле обходит сидящую в гнезде птицу, взялась за скобу ворот, а когда он пошел за ней, она загородила ему дорогу, обдала его лицо громким шепотом:

— Ступай домой... Ступай, Павло Иванович, не обессудь... Ты бы хоть его вспомнил, посовестился... Ступай!

А Павел молчаливо опустил голову, ушел, и снег уже без острастки скрипел под его валенками. Был Павел холостой, и, когда пришел конец войне, он, не скрываясь от людей, явился однажды свататься. При-

шел днем, в открытую, и, стоя посреди пола, с тяжелой радостью сказал ей:

— Зря ждешь, не придет! Не придет он, Марья, я там бывал, знаю, как без вести пропадают...

У нее потемнело в глазах, вся побелела от горькой злобы и плюнула ему в глаза. Ноги подкосило, закаталась по полу, скрученная, измятая жесткими словами безрукого. Очнулась, когда Павла уже не было, а дочка сидела в ногах, вздрагивала плечишками и швыркала полным слезинок носом — обличьем вся в него, в мужа...

Пропал без вести, ведь не убитый же. Никому не верила: ни бумагам, ни людям, одному сердцу. Живой, в плену где-нибудь,— может, угонили куда в Америку. Никак и не выберешься, либо нет на дорогу денег, а может, и не отпускают домой, держат в неволе, год по-за году.

Весной и летом Мария часто ходила на Росстань причитать. Выжидала, когда опустевала дорога, надевала что поновее. У Серого камня, может, от ее слез росла густая, с мягким посадом трава. Привыкли к ней птицы. Летом горькие чибисы, ранней весной грачи белоносые и веселые жаворонки пролетали, считай, над самым ухом, одна кукушка не показывалась из своего уронья.

Ой вы гостьи вы наши гостьюшки,
Дороги гостьи все любимые,
Погостили в гостях малешенько,
Что малешенько да смирнешенько,
Нету ни ветру же, нет ни вихорю,
Ни частого дождя осеннего.
Что от моря же, моря синего...
Что от моего дружка милого
Нет ни весточки, нет ни грамотки,
Ни словесного челобитьица!

Мария закрыла глаза и старалась представить чужую страну, но каждый раз не могла пересилить чего-то, мысли ее блекли, развеивались. Она то во сне, то как наяву ясно видела одну только ставшую за многие годы очень близкой картину: по широкой, по ровной дороге идет усталый муж, на ногах сапоги, за плечами солдатский мешок, а в руке тальниковый пруток. Идет он не торопясь, почему-то хромая, а над ним мятутся густые ветки незнакомых чужих деревьев. И Мария до боли, до жалости чувствует, как хочется ему снять сапоги. Он шел, все шел и шел, все эти годы, и все эти годы Мария ждала его домой, готовая в любую минуту сбегать в лавку и затопить баню...

Над Росстанью белая ночь сковала прозрачную тихую мглу. Мария очнулась от чьего-то негромкого смеха. Взглянула на далекий увал: там, около бескрылой коковки старой ветрянки, уже еле видимая, терлась, спускалась в сенокосную падь дорога.

Дорога была безлюдна, недвижима. Возглас, будто рыбий всплеск на речке, повторился, и Мария, вздрогнув от какого-то предчувствия, обернулась и вдруг внизу меж копен увидела белое, с розовой оторочкой платье дочери.

«С кем это она, дочка-то?» Мария вся напряглась, что-то захолонуло у сердца, беззащитная, как перед смертью, она заслонилась ладонями. Тревога ее все нарастала, копилась у горла между ключицами, и Мария, стараясь остановить что-то непосильное, с надеждой открыла глаза. Но белое платье никуда не исчезло.

«Большая уже дочка-то, невеста... Господи, невеста!..— Мария вдруг обессилела, руки у нее ослабли.— Дочка — невеста, господи... Сколько годов-то минуло, водицы сколь утекло».

Никто не шел по дороге, ни одной живой души не сопровождал сонный вечерний чибис, взлетевший над лугом ни с того ни с сего. Только упрямый туман наплывал на дальние пади.

И теперь тревога и страх перед неизбежным чем-то сменились вдруг ясной и страшной от этой ясности мыслью: «Не придет. Нет, видно, уж. Не придет никогда, ни завтра, ни после».

Мария с полминуты отрешенно смотрела в траву. Потом вдруг косо и медленно повела головой: странный нутряной голос, готовый жутким криком вырваться в небо, в белую эту ночь, так и остался по ту сторону зубов. Она ничком упала в траву и вся затряслась, задергалась, будто подбитая птица, остановилась, опустела. Она долго лежала так на траве, на Росстанном холме.

Трава пахла землей и дневной жарой, луна встала высоко над Росстанью. Постарелая и обессиленная Мария долго, трудно осмысляла и этот запах травы, и эту лунную, без жизни золотую смуту. Сердце тукалось прямо в теплую землю.

Луна висела над Росстанью, туман поднимался внизу, в луговых падях. И Мария заплакала: матушки милые, небеса не упали на землю, и гром не гремит на белом свете. Земля не раскололась под ней, нет нигде ни огня, ни дыму, прежние стоят стога и копны. И солнышко утром вдругорядь взойдет над лесом, а люди опять пойдут косить сено. Коровы замыркают, закипят самовары. Только его нету, нет и не будет, и ждать-то больше некого, и на Росстань-то ходить нечего. Двадцать пять годов ждала, ждала его, голубчика. Ждала, а он лежал мертвый в чужой земле. А может, от веры этой легче было лежать в чужой земле его кос-

тям, может, знает он, слышит ее сейчас? Не слышит, не знает...

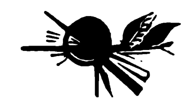
Мария, сидя на камне, легонько качалась, словно кланялась земле, принявшей его и ставшей теперь им самим, и теплые слезы остывали на шее от ночной свежести.

Она опять услышала тихий смех и говор. Оглянулась: между копен внизу ходили, будто плутали, Сережка и дочка. Дочь, как и Мария тогда, двадцать пять лет назад, ходила с парнем по Росстани. И теперь Мария уже спокойно, с отрадной тоской долго глядела на них. Глядела сама на себя, молодую и рожденную заново. Нет, не бывала она, Мария, вдовой ни дня, ни недельки, только сейчас, в эту сенокосную ночь... Опять ходит она, Мария, ходит дочка по молодой росе, и пиджак на девичьих плечах, точь-в-точь как и тогда, черный, и в молодых руках желтый венок из купальниц, и она тоже садится на корточки, сжимая плотно коленки, срывает купальницы. Ясное дело, не знаешь, чего делать, вот и срываешь цветы и плетешь венок.

Она взглянула опять на дорогу, дорога стала темней и короче. И снова вскипели в груди слезы. Над Росстанью плыла летняя тишина, вся равнина внизу потемнела, потому что луна закатилась за случайное облако.

Мария тихонько, не шевеля губами и не двигаясь, плакала и глядела на дочку, пока они с Сережей не исчезли меж копен. А там дальше, внизу, такие широкие раскидались туманы. Они кутали давно скошенные ложбины рек и ручьев, обтекая пригорки и стога в ни-

зинах, и остроконечные шапки этих стогов будто плыли по серому туманному молоку. Плыли и не могли уплыть. А из его глубин, как из-под воды, слышен был то крик дергача, то заглушенный влагой, беспомощный и милый клик по-детски испуганного жеребенка.



ТЕЗКИ



Он жил один, почти за городом, в давнишнем доме у пруда, в старинном саду. В жару сад безмолвствовал, только лопались и трещали стручки акаций, а в дождь там словно что-то посапывало и в тишине сильно пахло корнями. Это был небольшой сад, очень таинственный, без всяких аллей, одни хитрые тропки ныряли под кроны и терялись в зарослях. Толька нечаянно запустил стрелу в этот сад, осторожно пошел искать, но не нашел и, ступая по тропке, вдруг встретил его. От испуга Толька не мог даже пошевельнуться, стал глядеть на свою пуговицу, готовый заплакать. А он сел на камень и закурил сигарету.

— Садись, что ли.

Толька молча продолжал стоять, потом чуть осмелел и взглянул на него. Он был в резиновых сапогах, в пиджаке, но без галстука, то есть совсем не такой, каким видели его в городе, когда он ходил в книжный магазин или в библиотеку. Он зажал в ладони черную с рыжиной бороду и усмехнулся. Это Толька увидел исподлобья.

— Ну, а зовут-то тебя как?

— Петров,— буркнул Толька.

— Хм. А дома тебя как зовут? Толя, да?

Толька удивился и сказал «да».

— Вот видишь, я угадал. Теперь ты угадай, как меня зовут.

Петров чистосердечно сказал:

— Варнак.

Легкая, чуть грустная усмешка скользнула по его желтому лицу и затухла в бороде, но Петров этого не заметил. А он весело прищурился и опять поиграл бородой, говоря:

— Все, брат, наврали тебе. Меня Анатолием Семеновичем зовут, мы с тобой тезки. Наврали тебе, Петров, честное слово, наврали!

Петрову стало весело. В самом деле, и борода оказалась не страшная, и глаза, и нос как нос.

— Ты в каком? — снова спросил он Петрова.

— В шестой перевели.

— А Печорина знаешь как зовут?

— Это что в пожарной команде? — догадался Петров.

— Да нет, брат, это вы по литературе должны учить.

— Еще не проходили.

— Ты в четвертой школе? Кто у вас учительница?

— Нина Аркадьевна.

— Ну, а чего ж ты меня испугался?

— Я стрелу искал.

— Какая была стрела, ивовая?

— Ага. — Петров сел на траву. — Наконечника жалко.

— Ну, наконечник это еще полбеды. Я вот другое подумал...

Он стряхнул пепел с сигареты, сделал серьезный вид, поджал губы.

— А что, Ана... Анатолий Семенович?

— Да так, может, еще и ничего.

Петров озадаченно глядел на него. Тогда он пальцем поманил Петрова к себе поближе и шепотом сказал:

— Никому не скажешь?

— Нет! — Мальчик решительно замотал головой.

— Тогда слушай. Тут, понимаешь, много у нас всякого, в саду. Я-то уж знаю. Возьми хоть того же дрозда, вон там у пруда живет. Знаешь, как он поет здорово? Утром ты еще спишь, а он уже на ногах и поет, пока жарко не станет.

«Ну и что?» — подумал Петров и хотел встать, а он заметил скуку на лице мальчика и сказал:

— Если бы дрозд-то один, а то еще и жаба.

Петров глядел удивленно, не замечая того, что рот остался открытым.

— Жаба, конечно, как жаба, прыгает, в осоке ночует. Только ночует днем, а ночью не ночует. Охотится за всякими червяками и очень росу любит. Не нравится ей сухая трава, подавай мокрую...

Петров скептически глядел на него.

— Если б ей только это не нравилось. А то она еще и с дроздом не в ладах, понимаешь?..

Петров понимать понимал. Но в нем смешались две мысли. Одна мысль та, что все это наполовину выдумка, а другая та, что слушать было все равно интересно и уходить не хотелось.

— Как только дрозд запоет, прямо из себя она выходит, глаза пучит, лапами шевелит, не нравится ей, что дрозд поет и весь сад веселит. Ну и что ж, ты думаешь, дрозд на это? А-а-а, не знаешь. А дрозд ничего, поет до жары, хоть бы что ему.

Он снова закурил, в синих глазах скопились искорки, на желтом лице заиграл румянец. Петров слушал и удивлялся.

— Вот ты говоришь, стрела. Плохо будет дрозду, ежели жаба твою стрелу найдет. Если бы дрозд нашел, то ничего. Он бы положил ее на сучки до осени, а осенью стал бы твоей стрелой рябину сшибать. Не веришь? А жаба еще неизвестно, что твоей стрелой сделает. Может быть, пустит прямо в дрозда, когда он запоет завтра утром.

— Не-е! — засмеялся Петров. — Как она пустит, без лука? Что она, человек, что ли?

— А паук-то на что? Знаешь, какую крепкую паутину плетет? Сплетет, закрутит, как веревочку, от сучка до сучка, вот тебе и лук.

Петров опять засмеялся. Видно было, что мальчик не верил в рассказанное, но вдруг заблестели серые с белыми ресницами глаза, и рука нетерпеливо затеребила траву.

— Она еще и карпа не любит.

— Какого карпа? — спросил Петров.

— Зеркального. Он в пруду живет. В него по воскресеньям ласточки смотрятся, как и в зеркало. Не веришь? Усядутся на корягу, он подплывет поближе, они и смотрятся, ощипываются. Иначе, думаешь, были бы у них такие грудки белые? А ему что, жалко, что ли. Смотритесь сколько угодно. Жаба раз погляделась в него и с тех пор невзлюбила.

— Карпа? — Петров опять засмеялся, засмеялся и Анатолий Семенович, хлопнул мальчика по спине.

— Думаешь, не правда? Вот приходи завтра, малины пощиплешь и все своими глазами увидишь. Приходи, приходи, Петров.

Он встал, взъерошил Петрову волосы, хотел еще что-то сказать, но не сказал и легко пошел по тропинке.

Петров тоже, только вприскок, побежал домой.

* * *

Дома, когда Петров рассказал, где был, бабка взяла его за ухо и повернула, как поворачивают электрический выключатель.

— Не ходи куда не след, не ходи куда не след,— приговаривала она.— Ишь, к Варнаку пошел, к чахоточному. Да и в тюрьме десять годов просидел этот Варнак... Хоть и зря, говорят, по навету...

От жгучей обиды Петров даже не заплакал, не мог сказать ни слова и убежал в сарайку. Не пришел к ужину, и, когда мать стала звать его, обида опять сдавила горло, и он зарылся головой в подушку. Мальчик вздрагивал плечами до тех пор, пока мать с банкой молока не пришла в сарайку и не погладила его по волосам. Но и тогда еще нет-нет да и драло в горле и слезы приливали к глазам.

— А чего она дерется?— сказал Петров, когда мать, утешая его, легла с ним спать в сарайке.

Вскоре он заснул. Ночью ему снился зеленый пруд, и деревья вокруг, и будто бы пучеглазая жаба плавала в этом пруду, держа во рту потерянную стрелу. Зеркального карпа не было, потом он появился, прилетел и дрозд, начал петь свою песню.

Петров проснулся от того, что пронзительно кричали в сарайке куры. Матери уже не было. Он старался вспомнить, как поет дрозд, но не мог вспомнить и дол-

го лежал с улыбкой, глядел, как в дырку в крыше бьет прямая полоска от солнца.

Во дворе было уже солнечно, и жара томила кусты крыжовника. Где-то на центральных улицах городка гудели автомобили, грохала по мостовой телега. Петров припомнил вчерашнюю обиду и хотел кувырнуть бабкину кадку с водой, но решил отложить это дело. Бабка развешивала за сарайкой белье. Петрову хотелось на улицу. Вымылся побыстрее, выпил молока в кухне и незаметно подался к воротам. Однако бабка его уследила:

— Гляди не вздумай ходить к Варнаку. Куда лыжи-то навострил?

На улице Петров прежде всего отделался от знакомых мальчишек, вильнул за угол, перебежал пустырь и шмыгнул через разломанный забор. Но это был еще не тот сад. Тот сад был намного дальше, за водоразборной колонкой. Петров крался вдоль сетчатого забора и старался не торопиться. Ага, вот отсюда вчера он запустил стрелу. Вот и тот крапивный пролом. Петров, как и вчера, пролез через этот ход в сад и присел в густых акациях. Было тихо, только шумели вдалеке июльские улицы. Дрозд уже не пел, как ни старался Петров слушать. Может, уши не стали слышать? Петров дотронулся до больного уха, опять с горечью вспомнил бабку и пошел через сад по той же вчерашней тропке.

В саду было прохладно. Крапива росла в иных местах выше головы, не уступал ей и конский дягиль, цветущий белыми зонтиками. Вдруг заросли трав и деревьев расступились, и Петров очутился на берегу небольшого пруда.

Пруд будто дремал, в нем отражались небо с обла-

ками и вершины берез и лип. А там, чуть дальше, стоял желтый, словно игрушечный, дом с облупившейся охрой на резьбе, антенной на высоком балконе. Узкая галерейка опоясывала второй этаж в три окна, а первый, полуподвальный, в четыре окна, весь был увит плющами. Железная труба с флюгером-петухом венчала резной князек, деревянные столбы у входа напоминали колонны, которые Петров видел на картинке в учебнике по истории.

Мальчик долго глядел на дом, и на пруд, и на тихие от жары деревья. Ему теперь почти верилось, что в пруду живет зеркальный карп и жаба ночует днем в осоке, и что здесь есть в самом деле веселый дрозд, который каждое утро поет от жары. Мальчик зашел в тень и взглянул на то место пруда, где небо не отражалось и можно было смотреть вглубь. Вода была чистая, а дно не видно. И вдруг Петров испуганно отпрянул от берега, в глубине что-то остро, ясно блеснуло. Через минуту — опять. Мальчик вскочил и побежал к дому, еще издали увидел белую рубашку Анатолия Семеновича.

— Я сейчас карпа видел! — издалека заорал Петров, а Анатолий Семенович разогнулся.

— Надо бы, брат, сначала поздороваться. Карпа, говоришь, видел?

— Ага!

— Ну, правильно. Ласточки как раз только-только с пруда улетели. Он еще не успел домой на дно уплыть.

— А...

— Ты про дрозда? Дрозд тоже уже отпел, надо было тебе пораньше прийти.

— А почему у огурцов усы? — спросил Петров,

наблюдая, как Анатолий Семенович обрывает огуречные усы.

— Усы почему? Наверно, потому, что огурец мужского рода.

— Не-е! — взахлеб, торжествующе сказал Петров. — У тыквы тоже усы, а она женского рода! Знаете, какая у нас тыква?

Анатолий Семенович тоже засмеялся.

— Верно! Как это я про тыкву забыл? Ты, пожалуй, прав. Тыква женского рода и тоже с усами.

— А дрозд где сейчас?

— Кто его знает, в саду где-то. У него дел много.

— А жаба?

— Жаба сейчас спит. Ты бы пошел поискал стрелу, пока жаба не проснулась.

Анатолий Семенович сел на скамеечку, как-то странно задышал и вдруг закашлял в большой белый платок, пряча в него все лицо и дергая плечами.

— Иди, иди, поищи...— слабо сказал он между приступами кашля, но мальчик не уходил, испуганный и оробевший, стоял рядом. Желтый высокий лоб Анатолия Семеновича покрылся капельками.

— Вишь, брат, какие дела... Никогда смотри не болей.

Он дышал часто и прерывисто, руки у него дрожали.

— Слышишь? — Анатолий Семенович поднял палец.

— Что? — Петров улыбнулся, у него сразу отлегло от сердца, когда глаза Анатолия Семеновича заиграли, как и раньше.

— Слышишь, как трава растет?

Мальчик прислушался, и сквозь дальний городской

шум ему взаправду показалось, что он слышит, как растет и чуть шевелится горячая от солнца трава.

— А Таня говорит, что трава только по ночам растет.

— Какая Таня?

— Я с ней на одной парте сидел, а потом ее Нина Аркадьевна с Тонькой-ябедой посадила, а меня рассадила.

— За что рассадила?

— Нас жених и невеста дразнили.

— Хм...

— Таня говорит, что трава по ночам растет. А почему?

— Ты спроси у нее, у Тани. Она, наверное, знает почему. Слышишь? А может, вы вместе с Таней ко мне придете?

Петров сказал, что, когда начнется школа, Таню он позовет и они придут сюда вместе. Анатолий Семенович взял его под мышки и подкинул в воздухе.

Потом они долго ходили по саду, ели малину, искали стрелу, но так и не нашли, а через день со второй сменой Петрова отправили в пионерлагерь.

2

Пришла и осень. То и дело брызгали уже холодные дождики. По ночам в городе стало темнее, а днем пахло огурцами и бензиновым дымком, бабкина кадка стояла под застрехой все время полная. Вернувшись из лагеря, Петров начал ходить в школу. Он все собирался сбегать к Анатолию Семеновичу вместе с Таней, но она сидела от него далеко, а в перемены не выходила из класса, и Петров стеснялся с ней разговаривать.

Сегодня он еще ночью, во сне, когда снился весе-

лый дрозд, решил обязательно вместе с Таней сходить к Анатолию Семеновичу. Утром принесли газету, бабка завернула пирог с творогом прямо в эту свежую газету. Петров это сразу заметил и сказал бабке, что ей опять влетит от отца за то, что истратила свежую газету. Бабка испугалась, но газета все равно была испорчена жирным пирогом, и Петров побежал в школу.

Петров немного запоздал на урок, и ему пришлось просить разрешения войти. Тонька-ябеда была дежурная, она встала и нарочно тоненьким голоском начала докладывать:

— Нина Аркадьевна, в классе восемнадцать человек, все пришли с носовыми платками, двое не выполнили домашних заданий. Петров опоздал на две минуты...

Петров украдкой наблюдал за Таней и Тоньку не слушал. Он опять вспомнил, что еще летом обещал Анатолию Семеновичу вместе с Таней прийти в сад слушать дрозда. А почему трава только по ночам растет? Наверно, оттого, что ночью не мешает никто. А стрелу, может, и правда жаба спрятала? Скорей бы уроки, что ли, кончились.

И вдруг ни с того ни с сего Нина Аркадьевна велела всем мальчикам выйти из-за парт и выложить из карманов все, что там есть. Петров выложил носовой платок, рогатку и маленький кусочек мела. Нина Аркадьевна медленно шла между партами, смотрела, что выложено. Дошла очередь и до Петрова.

— Петрофф! Выйди к доске.

Все сели, только Петров стоял у доски.

— Поднимите руки, у кого еще в кармане есть мел! — сказала Нина Аркадьевна. — А ты, Петров, скажи, почему написал в мальчиковой уборной нехорошие слова?

Петрова даже в жар бросило. Никогда никаких слов и нигде он не писал, даже в уборной сегодня не был ни разу. Он чуть не заплакал, покраснел и хотел выбежать из класса.

— Хорошо,— сказала Нина Аркадьевна.— После уроков зайдешь в учительскую. А сейчас начнем урок.

Она вернула ему платок, рогатку положила в портфель и за локоть отвела на место.

— Нина Аркадьевна,— Тонька подняла руку,— а мел и у Иванова, и у Смирнова, я сама видела, как они его в парту прятали.

Петров хоть и не любил Тоньку, но тут обрадовался ее голосу, обида и накипевшие было слезы рассосались где-то в носу. Нина Аркадьевна заставила самостоятельно прочитать былину «Вольга и Микула», Петров читал, но читать было неинтересно.

На последнем уроке Петрова вызвали в учительскую допрашивать, но оказалось, что кто-то уже видел, как Смирнов писал в уборной эти проклятые слова. Петрова отпустили, только отругали за рогатку. Он выскочил из учительской и шмыгнул в раздевалку, потому что все равно уже был звонок. В раздевалке он увидел Таню и не нарочно стукнул Тоньку-ябеду портфелем в бок.

— Тили-тили тесто, жених и невеста!— прошипела Тонька и показала язык.

Петров хотел стукнуть уже нарочно, но надо было догнать Таню, чтобы вместе сходить к Анатолию Семеновичу. Однако Таня уже ушла. Петров решил, что с Таней сходят к Анатолию Семеновичу вместе в другой раз, а сегодня лучше сбегать одному.

Он подошел к дому с улицы, а не через сад, узнал это место по флюгеру-петуху, что виднелся из-за высо-

ких лип. Первые опавшие листья уже шелестели под башмаками у калитки и у сетчатого забора. Калитка была заперта. Петров постучал, но никто не открывал. Тогда он перелез через забор и подошел к дому. Дверь за деревянными столбами была тоже закрыта, окна почему-то стали без занавесок, и вокруг никого не было. Мальчик обошел дом, постоял у цветника. Но его никто не окликнул. «Куда же уехал Анатолий Семенович?» Петров постоял еще и направился домой через сад. «Наверное, на море уехал,— подумал Петров,— он на море хотел ехать». Теперь сад был совсем не тихий. Он шумел от сентябрьского ветра. Влажные листья падали на грядки. Петров подошел к пруду. «Интересно, будет карп есть пирог с творогом или не будет?» Пирог так и остался цел из-за всех сегодняшних происшествий. Петров развернул газету и начал кидать кусочки пирога в пруд, потом вздохнул, оглянулся. Куда же деть эту газету? Анатолию Семеновичу наверняка не понравится, если бросить ее тут. Он взглянул на смятую бумагу, хотел затолкать пока в карман, но ему бросились в глаза чем-то знакомые слова, «...Варнакова Анатолия Семеновича». Петрова что-то кольнуло от этих слов. «Обком и облисполком с прискорбием извещают о смерти Варнакова Анатолия Семеновича». Петров еще раз перечитал слова в рамочке. Он, ничего не понимая, огляделся вокруг и вдруг увидел свою стрелу. Она лежала под березой, несколько листков уже упало на нее, наконечник из консервной банки заржавел. Петров поднял стрелу, опять перечитал объявление и внезапно понял, заплакал, побежал... Он не помнил, как перелез через забор и разорвал штаны, как чуть не попал под машину, как почему-то добежал до того дома, где жила Таня. Он знал, что Таня живет

в одном доме с учительницей, знал, который подъезд, не знал только какая квартира. У подъезда он посмотрел потемневшую дощечку с фамилиями жильцов. Слезы не давали ему читать, но перед цифрой «двадцать» он все же прочел почти стертые, написанные давным-давно слова:

«Варнакова Нина Аркадьевна».

Он не мог понять, почему у Нины Аркадьевны фамилия оказалась Варнакова, хотел бежать вверх по лестнице в двадцатую квартиру, но вдруг увидел Нину Аркадьевну. Она выходила из подъезда деловитая, с крашеными губами, в белых перчатках.

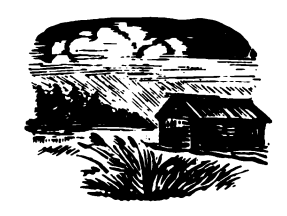
— Петрофф! Тебе кого здесь?

Он повернулся, выронил стрелу и, размазывая по лицу чернильные пятна и слезы, пошел со двора.

Желтый листок сорвался с ветки, покрутился, задержался на петровской фуражке и упал на асфальт. Заморосил дождь, и ивовая стрела мокла около Таниного подъезда.



БОБРИШНЫЙ УГОР

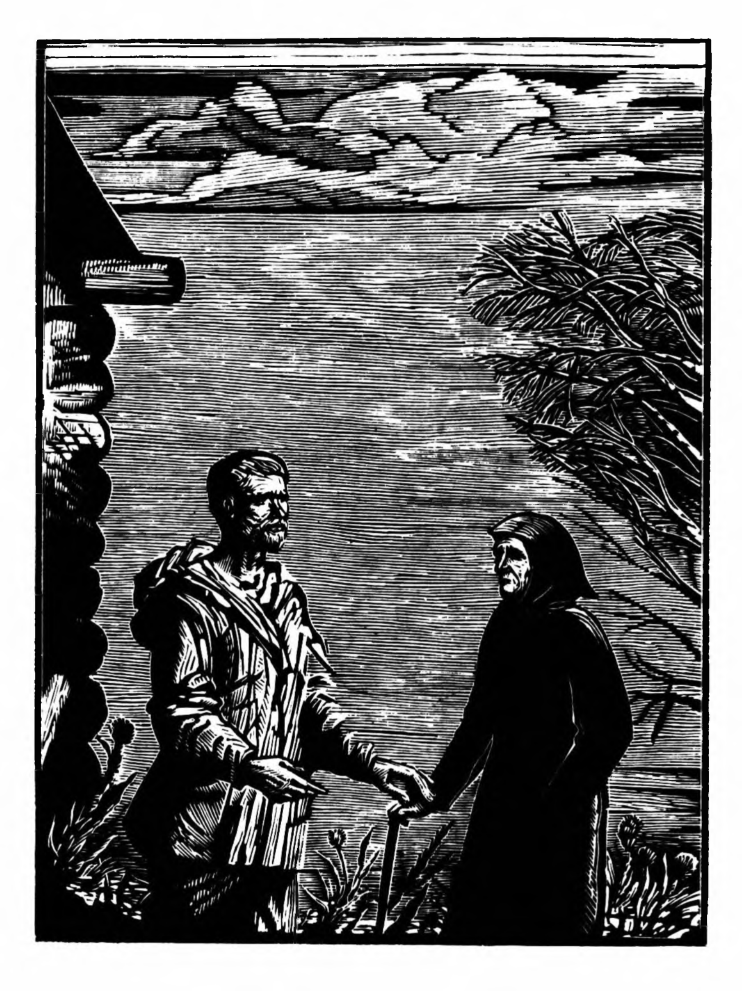


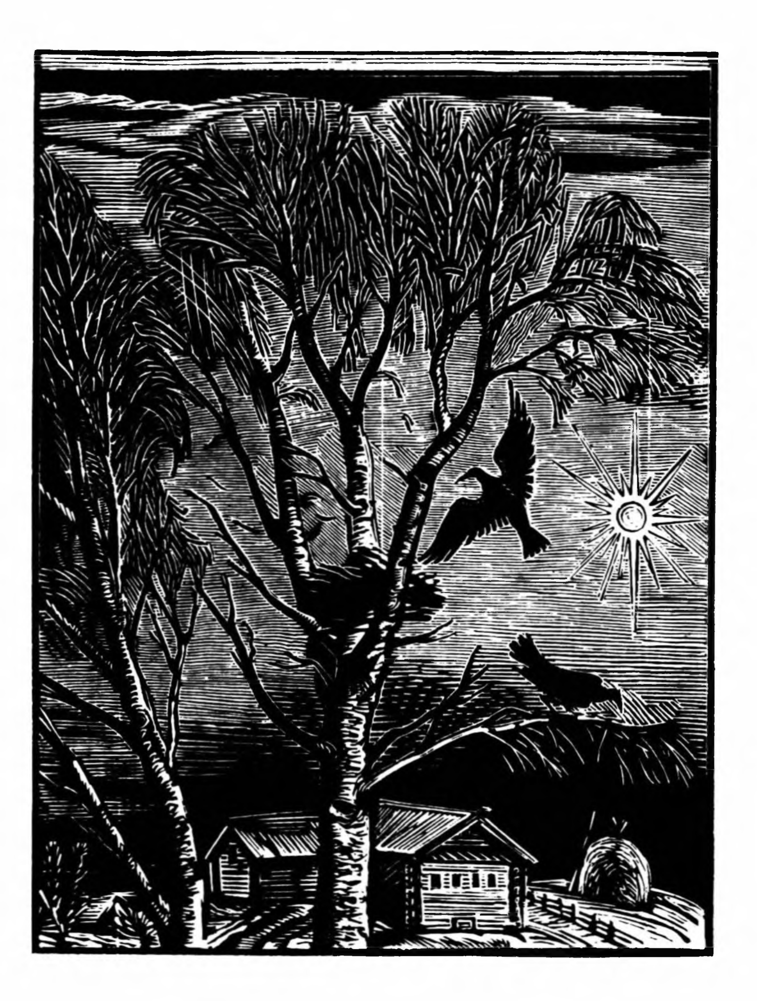
Дорога была суха, песчана и оттого тепла. Но иногда спускалась в низинки, становилась влажно-мягкой и потому холодила ногу. Она незаметно вошла в лес. Думается, так же вот входит по вечерам в свой дом женщина-хозяйка, называемая у нас большухой.

Июльский сумеречно-теплый лес неспешно готовился отойти ко сну. Смолкали одна по-за одной непоседливые лесные птицы, замирали набухающие темнотой елки. Затвердевала смола. И ее запах мешался с запахом сухой, еще не опустившейся наземь росы.

Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, врачуя своим покоем наши смятенные души, он был с нами добр, широк, был понятен и неназойлив, от него веяло родиной и покоем, как веет покоем от твоей старой и мудрой матери...

Ах, тишина, как отрадна и не тревожна бывает она порой, как хорошо тогда жить. И это была как раз та счастливая тишина. Хотя где-то неопределенные и по происхождению явно человеческие звуки выявляли окрестные деревни. Но это еще больше оттеняло главную мелодию нашего состояния. Мелодия же нашего состояния заключалась в том, что кругом нас и в нас





самих жил отрадный, добрый, засыпающий лес, и жила июльская ночь, и была везде наша родина.

Обычно большие понятия ничего не выигрывают от частого употребления слов, выражающих их. И тогда мы либо стыдимся пользоваться такими словами, либо ищем новые, еще не затасканные досужими языками и перьями. И обычно ничего не выходит из этой затеи. Потому что большим понятиям нет дела до нашей словесной возни, они живут без нашего ведома, снова и снова питая смыслом и первоначальным значением слова, выражающие их. Да, лопаются, наверное, только ложные святыни, требуя для себя все новых переименований. Я думал об этом, слушая крик затаившегося коростеля. И вдруг ощутил еще невидимый Бобришный угор. Ощутил мощный ток покамест невидимой и неслышимой реки, ее близость. В дорожном просвете, в этом готовящемся к ночному покою лесу я увидел домик. Домик с белым крыльцом, на Бобришном угоре. Я перелез осек — высокую изгородь, которая определяет границы лесных выпасов,— и увидел опять, как дорога, словно не желая быть назойливой, ушла куда-то вправо. Еле заметная тропка ответвилась от нее, попетляла меж сосен и умерла на полянке, около домика. Несмотря на ночные сумерки, трава на полянке белела цветочками земляники. Она, эта ягода моего детства, особенно густо цвела позади домика: я стоял на одном месте, боясь переступить и растоптать ее белые звездочки. Тотчас же родилась где-то между ключицами и остановилась в горле жаркая нежность к этим звездочкам, но я тут же изловил себя на сентиментальности. В таких случаях всегда хочется закурить. И я в несколько затяжек прикончил горькую сигарету. Казалось кощунством бросить окурок в эту пер-

возданную чистую траву, я затолкал окурок в спичечную коробку. Наверное, огонь не был погашен до конца, потому что спички вдруг вспыхнули, и запах жженой селитры заставил меня ощутить, как легок, незаметен, как чист воздух здесь, на Бобришном угоре.

Я вышел к высокому, почти обрывистому берегу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь сосновые лапы, сквозь кусты ивы, березовую и рябиновую листву виднелась не очень широкая, светлая даже ночью река. Она набегала к угору издалека, упиралась в него своими бесшумными сильными струями и заворачивала вправо, словно заигрывая с Бобришным угором. Тот, противоположный берег, был тоже не низкий, холмистый, но угор все равно господствовал над ним. Там, у воды, белели песчаные косы, а дальше клубилась лиственная зелень, перемежаемая более темными сосняками и ельниками. Левее была обширная, пересеченная извилистой старицей и окаймленная лиственным недвижимым лесом пойма. Коростель как раз жил в этой пойме. Сейчас он снова размеренно драл нога о ногу, как говорят в народе. Пойма была спокойно-светла, копила в своих низинках белый туманец, и он сперва стушевывал, потом тихо гасил цветочную синь и желтизну еще не кошенного луга.

Домик таинственно и кротко глядел на все это с высоты угора, а позади тихо спали теплые ельники.

* * *

Ты был праздничен и никак не успевал совладать со все нарождающимися своими чувствами. Еще не окрепло одно, как рождалось уже другое, еще более

сильное, затем третье внахлестку, и так чуть ли не до утра. Но я как-то смутно помню эту первую ночь на Бобришном угоре. Под ступенькой крыльца мы нашли ключ от замка и вошли в твой светлый ночной дом. Ветки зеленели совсем рядом за стеклами, рядом же, почти под нами, ясная, бессонная стремилась река, и коростель неутомимо драл нога о ногу. И все было спокойно, отрадно и радостно.

— Здравствуй, земля моя родная.

Ты не знал, что я слышал эти слова, сказанные тобой вполголоса, но если бы и знал, а я бы знал, что ты знал, мне все равно не стало бы стыдно. Я благодарен тебе за то, что мое присутствие во время вашей встречи с родной землей не выглядело фамильярным. К тому же ведь так естественно здороваться с родиной. Но я знаю, что говорить об этой естественности уже, наверное, неестественно. Потому что опять же слова и разговор обо всем этом — категория меньшая по отношению к предмету разговора, а пошлость подстерегает меня за каждой строкой. Так беден наш язык, когда пытаешься говорить о сокровенном. В радиотехнике есть такой термин: полоса пропускания. Некое устройство ограничивает в радиоприемнике полосу слышимых частот, диапазон суживается. Так и любой разговор о том, что свято для человека, для измерения чего нет единиц, обрубает, суживает то, о чем говорим, о чем не можем не говорить...

Мы сложили поклажу: ружье, бинокль, охотничьи и рыболовные припасы. Тоня — жена твоего племянника — принесла хлеб, сахар и молоко, зажгла нам керосиновый фонарь, и от его красного света стало таинственно уютно и сразу же захотелось никуда не выходить. Вскоре Тоня ушла домой в деревню, а ты принес

из сенец дров и затопил печь. И огонь словно вдохнул душу в домик на Бобришном угоре.

Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи. Тиль Уленшпигель на всю Фландрию вопил о пепле Клааса. И гёзы собирались на этот призыв со всей Фландрии. Мне же вопить не позволяет совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел: на наших глазах, быстро, один за другим потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего.

И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без этой малой родины невозможно. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина...

Что ж, покамест у нас есть Бобришный, есть родина. Нам нечего стыдиться писать это слово с маленькой буквы: ведь здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая родина. Да, человек счастлив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречься.

Как жарко топится печь! Комары печальным своим звоном напоминают о том, что мы ночуем в лесу. Мы оба любим тепло, и ты поминутно подкидываешь в огонь, а за окнами плывет летняя ночь, плывет время. Сейчас оно ассоциируется для меня с твоей рекою, которая никогда не останавливается. Невозвратность наших минут похожа на невозвратность слоеных речных струй, вода так же, как и время, никогда не вернется обратно.

* * *

Утром я проспал восход солнышка. Тебя не было, я взял бинокль и прямо с крыльца долго разглядывал еще дымящуюся реку, пока за одной из верб не увидел твой поплавок и удилище. Поплавок то и дело сносило течением, ты удил рыбу примерно в полукилометре от меня. Утро долго не кончалось, полдневный ветер еще только зачинался в сосновых лапах. Высыхающая роса в союзе с солнцем рождала в лесу радужно-золотую мглу, мимолетную, словно ребячий сон, золотую мглу. Радостно и отрешенно пели вокруг птицы. Прямо за домом раскатисто, многоколенно журчало горло дрозда-дерябы, тут и там застенчиво и озорно цвинькали синички, свистели над рекой стремительные зуйки. И где-то вдали, но ясно и чисто куковала кукушка. Ее голос был печален и светел, а ритм кукования был похож на биение сердца. Недаром в народе называли этот голос сиротским, вдовьим, вдовство для крестьянской женщины то же сиротство. А мы, мужчины, еще и теперь идеализируем действительность, и нам хочется слышать в голосе кукушки печаль,— и мы слышим эту печаль, забывая о том, что кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц.

Бобришный угор пел на все голоса. Я слышал здесь даже соловья, он раза два-три принимался щелкать и переходил на пение. Но здешний соловей был как бы слишком застенчив, он словно боялся быть веселее других и быстро замолкал, зато дрозды и синицы не смолкали ни на секунду.

Откидываясь назад и хватаясь за ветки рябины, по крутой, осыпанной иглами тропке я съехал к реке, чтобы умыться, и вдруг увидел нечто странное. Му-

равьи узким сплошным потоком через весь склон угора спускались к воде и той же дорогой поднимались обратно. Это был не иначе как муравьиный водопой, под самыми окнами домика на Бобришном угоре. Они, эти крохотные трудяги, копошились, кувыркались, опять торопились, и все к реке, другие так же суматошно — от реки, вверх, и было жаль эту живую материю, раздробленную на миллионы одинаковых, живых комочков, движимых одинаковым инстинктом, ничем не отличающихся друг от друга живых комочков. Опять, как вечо́р на сентиментальности, я поймал себя на философствовании.

Как раз в это время и чмокнул соловей, я с удовольствием забыл про муравьев, сбегал за удочками, волнуясь, размотал леску...

И вот мы маячим на высоком, тихом, зеленом берегу, где прямо из песка растут могучие мясистые стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, обруснув листья, с хрустом закусываю: кислый и сочный щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык после такой закуски сразу как-то устанавливается на свое место. Мы удим, а это значит, мы уже как бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Наверное, в этом и есть главная тайная прелесть уженья и охоты. Глядя на поплавок, забываешь о преходящей своей сути, забываешь о неизбежности собственного конца. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще ни разу не ознобила тебя своим безжалостным инеем. Поплавок застрял в мозговом механизме, остановил его ход, его неумолимый бег к той стремни-

не, где бессменно караулят нас ехидные категории смерти, пространства и времени. Река струит свои светлые упругие пряди, стремительные зуйки словно прокалывают пространство меж берегами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском шуме звучит коровий колокол — жалкий наследник своих могучих меднобоких предков. И вдруг я как бы с удивлением замечаю, что поплавок уже давно недвижим, что, собственно, ведь и не клюет и что надо сматывать удочку...

И все вновь становится по-прежнему. А ты с наживкою в рукавице неутомимо ходишь от заводи к заводи. Ищешь, ждешь хорошего клева, и у каждого нового куста веришь в большую добычу. И каждый куст обманывает тебя, и ты вслух придумываешь причины безрыбья. Тебе хочется поймать хариуса. Я никогда не видел эту благородную рыбу, и ты хочешь поймать хариуса, но хариус ни разу не клюнул, и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с тревожным свистом слетела с гнезда, мы с минуту любовались тремя беззащитными яичками. Потом поднялись на угор.

Все-таки на уху-то наудил ты со своим терпением, а не я, проспавший восход солнца. Наверное, терпение нужно людям не меньше, чем азарт и смелость, иначе не сваришь никакую уху, никакую кашу, вся беда в том, какое терпение.

Вытряхивая из старой холщовой рукавицы остаток наживки в бадью с землею, ты рассказываешь о том, что дождевые черви живут в неволе месяцами и больше, если землю изредка сдабривать несколькими каплями молока и спитым чаем. «Что ж, чай с молоком — напиток давнишний, аристократический, напиток бунинских мелкопоместных дворян и северного кресть-

янства»,— почему-то думается мне, а ты уже волокешь меня дальше, смотреть дятлову работу.

— Знаешь, какое у дятла профессиональное заболевание?

Я, конечно, не знал. Не знал, что профессиональное заболевание у дятла — сотрясение мозга... С восторгом восьмиклассника ты показываешь мне отверстие, продолбленное дятлом в дощатой стенке сеней. Сколько же нужно было тюкать, чтобы пробить эту дыру в стене, какое нужно упрямство! Но самое интересное то, что дятлова дыра сделана в десяти сантиметрах от окошечка, выпиленного плотниками. Вместо того чтобы влезть в это окошечко и посмотреть, что там внутри, дятел долбил свое, только свое, окошечко. А я тоже, как тот дятел, уже не могу без своих дурацких аналогий. При виде дятловой работы мне думается про упрямство и гордость юношеских поколений, не верящих на слово отцам и дедам. Опыт предков не устраивает гордых юнцов, и они каждый раз открывают заново уже открытые ранее истины, долбят свои собственные отверстия. И лишь у немногих из них остаются силы, чтобы продолбить следующую, еще не тронутую стенку, а стенкам нет конца, и жизнь коротка, словно цветение шиповника на Бобришном угоре.

...Если бы юность умела,
Если бы старость могла.

Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным — это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым

примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить. Моя стеснительность, наверно, крестьянская, все время сковывала меня, и, может быть, я не выглядел откровенным в твоих глазах, и в них нередко мелькала тревожная настороженность. Но что я мог сделать и что вообще нужно делать в таких случаях? Самое лучшее — это взять ружье и уйти на тягу.

* * *

Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно появляется, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это ведь и было в общем-то счастье. За тысячи лет исканий, войн, страданий и изощрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с пережженной солью, лучше смоляного запаха и гулких ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна дома в сумерках, костер, раздвигающий тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, тысячи самых неприметных и доступных вещей делают меня счастливым.

Но я думаю о том, что человеку нужно, наверное, увидеть каскад городских огней, услышать каскад джазовых звуков.

И свист рябчика людям не понять, пока не набьют оскомину звонки телефонов и заполонившая эфир морзянка, не понять ядреной смоляной лапы в стеклянной банке, пока не напокупаешься столичных мимоз; не узнаешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока до-

сыта не налетаешься на звенящих «ТУ» с их обязательными леденцами и пристяжными ремнями...

Не потому ли, что нам с тобой доступно и то и другое, а им лишь одно, так настороженно-недоверчивы к нам твои земляки? Кто-то подкорил сосну у крыльца домика. Ты страдаешь от их жестокого непонимания, и я тебя понимаю, так понимаю, что вспоминается русская сказка про Ивана Глиняного. Она, эта сказка, звучит примерно так, как и все наши сказки: хитро и нелицеприятно, сурово и мудро. Жили-были дед с бабкой, у них ничего не было. Давай, старик, говорит старуха, слепим сынка из глины, а то никого у нас нет. Давай, говорит старик. Слепила старуха сынка из глины — Ивана Глиняного. Иван с лежанки слез и сперва старуху съел, потом деда. Вышел из избы, а из поля идут мужики с косами. Иван Глиняный и их съел. Идет дальше, дошел до леса, а навстречу медведь. Хотел и медведя съесть, а медведь ему не поддался, распорол Ивану Глиняному все брюхо. Тут вышли на свободу и дед, и бабка, и мужики с косами. Мужики медведя бить. Били, били и укокошили...

Но ты лучше меня знаешь, что нелепо обижаться на дождик, до нитки промочивший нас где-нибудь в лесу. К тому же давно известно, что легче простить обиду, чем обидеть, но что-то тут неладно... Что и кому можно прощать и где граница между великодушием и необходимой самозащитой? Ко всему этому, многие люди не прощают великодушия. Как те косцы, которые убили медведя. Мол, никто тебя не просил выпускать нас из брюха Глиняного и нечего соваться не в свое дело. Может, нам в брюхе-то лучше было. Поди разберись теперь, положительный ли герой этот медведь?

Нет, я не верю, что все люди как эти косцы. Но доб-

ро, которое делают положительные герои, так часто оборачивается для людей самым жестоким злом, что герои и в жизни вовремя погибают. У писателя же тем более не хватает духу довести своего идола до конечного результата героической деятельности, и он умерщвляет его в ореоле славы и добродетели, предоставляя расхлебывать кашу новым, таким же непоколебимым героям.

Герои, герои, герои... Как часто приходит ко мне страшная мысль о том, что мужество живет только под толстой, ни к чему не чувствительной кожей, а сила рождает одну жестокость и не способна родить добро, как ядерная бомба, которая не способна ни на что, кроме как однажды взорваться. А может быть, сила добрая и есть могущество, не прибегающее к жестокости? Может быть мужество без насилия? Нельзя жить, не веря в такую возможность. Но так трудно быть человеком, не огрубеть, если не стоять на одном месте, а двигаться к какой-то цели. Ведь стоит даже самым нежным ногам одно лето походить по здешним лесам, и ноги те огрубеют, покроются толстой кожей, неспособной ощущать раздавленного птенца. И все мы научились так изумительно оправдываться невозможностью рубить лес без щепы, что позволяем изводить на щепу и сами срубленные стволы, благо есть что рубить и лесостепь покамест не соединилась с холодной тундрой. Ко всему прочему мы порой ограничиваем борьбу за новое всего лишь разрушением старого. Потому что, чтобы разрушить, зачастую требовалось меньше ума, чем сделать новое, не разрушив того, что уже было. Ах, как любят многие из нас разрушать, как наивно уверены в том, что войдут в историю! Но ни один хозяин не будет ломать старую избу, не построив сперва новую,

если, конечно, он не круглый дурак, ведь даже муравьи строят новый муравейник, оставляя в покое прежний, иначе им негде укрыться от дождя....

Я оставлял эти клочковатые мысли в твоих лесах, бродя босиком по земле, и шишки стукались об нее, цвела земляника. Куковали кукушки, и река катилась под нашим домом. Жаль, мы так и не выкупались ни разу за шесть дней. Река ждала нас, и вода все катилась под угором, такая же невозвратная, как наше время.

* * *

Однажды я потерял чувство времени. Время как бы остановилось и исчезло. И все прожитое мной, начиная с первых воспоминаний, стоявшее до этого в ряд, утеряло последовательность, все сконцентрировалось и слилось в одной точке. Не существовало и будущего, было только одно настоящее, то, что уже есть, и это было странно-счастливое состояние. Нет времени. Нет вечности — ни той, которая позади нас, ни той, что впереди: есть только то, что есть, есть нулевые координаты времени. Теперь, вдалеке от Бобришного, я с улыбкой вспоминаю то счастливое состояние, сравнимое, может быть, только с состоянием космической невесомости, когда для человека нет ни севера, ни юга, ни востока, ни запада, ни верха, ни низа. Странное необъяснимое состояние. Я глядел на все, окружающее Бобришный угор, каким-то внутренним взором, мне казалось, что я слышу цвета и размеры, а звуки и запахи вижу, хотя моего «я» тоже не было, оно тоже исчезло. Может быть, это состояние было вызвано чтением Толстого: этот старик как бы стоял у моего изголовья жи-

вой, и его дух был моим духом, он чувствовал то же, вернее, я при его воздействии чувствовал то же, что чувствовал он. Иными словами, он был живым, он жил во мне, пока я читал «Казаков» и повесть «Семейное счастье», и то, что он жил, смывало ощущение времени. Может быть, это состояние питалось присутствием всюду натуральной, не из вторых рук природы, которой ни до чего не было дела, может быть, тем, что я никогда не видел тебя спящим.

Рябчик свистел за нашим домом, то печально звенели комары, пахло солнечной хвоей, то виднелись в окнах неподвижные, в мягких сумерках ветви деревьев, и не поймешь, какая пора суток. Я уходил далеко в лес, зная, что мешаю тебе работать и что дружба не требует обязательного присутствия, и жил один, но иногда меня мучила твоя излишняя заботливость, мне хотелось нейтральности дружеского равнодушия. Ведь настоящих друзей никогда не потчуют за столом. Но ты противоречив: даже и жалуясь на обилие и назойливость всевозможных гостей, всегда радовался их приездам, тем приездам, когда гости маскируют ухой самое банальное желание выпить или лишний раз напомнить тебе, кто есть кто. Однажды после такого наезда я с туманной головой и сосущей болью в боку с пятого на десятое слушал тебя и вдруг вздрогнул: такое горе, такая скорбь просочилась в твоем голосе. Ты говорил о своем недавно погибшем сыне и плакал, и у меня сжалось сердце оттого, что твои слезы не были слезами облегчения и что ничем тут не поможешь, ничего не вернешь; горе это неутешно и необъятно. Да, умереть нужно мужественно, но, наверное, еще большее мужество необходимо, чтобы жить, человеку иногда труднее жить, чем кончить однажды. Помнится,

я осторожно сказал тебе, что ведь умрут даже те, кого еще нет на свете, кто даже не родился еще, но это не прозвучало для тебя утешением, и в домике на Бобришном угоре всю ночь жило страдание. Утром я ушел далеко по речному берегу и лег под старой сосной, на откосе, долго глядел в сизое, тускнеющее к полудню небо. Почему-то солнце не могло меня согреть. Я встал, насобирал сушняку и разжег костер. Огонь тоже не грел, а лишь обжигал, я глядел на сивый древесный пепел, слушал тревожный замирающий шум леса и думал о смысле всего, о непонятном, ускользающем смысле. Теперь я вновь ощутил время. Костер утихал, и время шло в одну сторону, и ничто не могло остановить его хода: ни голос кукушки, ни голос сердца, посягающего на все непонятное. Где-то на западе грозно, далеко, гремел гром, он, то приближаясь, то удаляясь, медленно, не торопясь, надвигался к Бобришному угору. Гроза рычала все ближе, и земля поглощала ее картавые, глухие, полные недовольства звуки, а я все глядел на красноватые, бледные в ярости солнца огни костра. Отчаяние, горечь, ревность к вечной природе и чувство жалости к людям и самому себе — все это сливалось у меня в один горловой комок, и я не знал, что делать. Уже скрылось тревожно-косматое солнце, ветер матерел с каждой секундой. Я медленно уходил от грозы, преодолел густой, совсем молоденький ельник и вышел в сухой корявый сосняк. В этом редком, тоже молодом сосняке не было ни листка, ни травинки, один ягель хрустел под ногами. Теперь даже лес был чужим, равнодушным, всюду широко и надменно хозяйничала гроза, но ее грохот казался мне нелепым, бессмысленным: на кой черт все это! Для чего и зачем?

В доме я увидел тебя спокойно сидящим за тем еловым, сколоченным из чурбаков и плах столом. Ты оглянулся: во взгляде светился ровный ясный покой. Спросил, не промочил ли я ноги, и голос прозвучал тоже как-то сердечно и просто, в нем были мудрость, тепло и словно тихое снисхождение к моим философствованиям, словно ты знал о них, переболевший ими задолго до меня, и теперь допускал их для меня и принимал, словно зная что-то другое, более главное, еще не пришедшее ко мне. Но прежнее восприятие жизни возвращалось ко мне медленно, и самое смешное то, что я злился на себя из-за того, что оно возвращалось. Я вышел на крыльцо и сел на ступени. Всюду, будто сверху и снизу, со всех сторон домика трещал гром. Шумела в лесу дождевая метель. Вдруг полетел град и дохнуло зимой взаправду. Градины стучались о крышу, бухали о землю, прискакивали и медленно таяли, и гром стлался по земле, в лесу, и в небе летела вода. Один раз треснуло совсем рядом, одновременно с зеленой вспышкой разряда, и это словно вышибло из меня остатки рефлексии...

Нет, надо просто жить, раз родился, и нечего спрашивать, зачем родился, жить, жить, жить... И нечего, нечего. С чувством наблудившего и со стыдом я закурил, мне уже хотелось как в детстве закатать штаны и босоплясом пуститься по дождевым лужам.

Гроза утихала над нашим кровом, она уходила частью дальше, частью выдыхалась, но дождь еще долго кропил Бобришный угор. В доме было тепло и спокойно, отблески молний вспыхивали за окнами, пахло освеженною зеленью. Гром еще рычал где-то, но все тише и тише, и сквозь разряды «Спидола» негромко играла прекрасную музыку. Было слышно, как с кры-

ши капают последние капли, и музыка, похожая на эту капель, звучала в домике, кажется, это была одна из шопеновских мазурок, та самая, в которой звучит спокойная радость жизни, светлая послегрозовая усталость и гармоничное, счастливое созерцание мира. И оттого, что в доме струилась эта светлая прекрасная музыка, что в твоем голосе была поддержка, и дружба, и мужество, хотелось снова что-то делать для людей и для времени в этом непостижимом мире.

* * *

Бобришный угор тихо рокотал соснами, когда мы уходили по лесной дороге. Река мерцала, кукушка молчала, а на окне так и остались синие лесные цветы, и сосновые лапы, и томик Толстого. Наверное, сейчас там тишина и снег, река сжимается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в остывшей печке свистит ветер. Домик ждет весны, которой никогда для него не будет. А я с запозданием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу, последний наш деревенский кров: видно, так надо, что нет нам возврата туда, видно, это приговор необратимого времени.



СОДЕРЖАНИЕ

К читателям
Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Литературно-художественное издание

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Белов Василий Иванович

БОБРИШНЫЙ УГОР

Рассказы

Ответственный редактор
В. М. ПИСАРЕВСКАЯ

Художественный редактор
Б. А. ДИОДОРОВ

Технический редактор
Е. П. КУДИЯРОВА

Корректоры
И. Н. МОКИНА, А. П. САРКИСЯН

ИБ № 10885

Сдано в набор 02.12.87. Подписано к печати 05.07.88. Формат 70×108¹/₃₂. Бум. высоко-худ. ГДР № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,8. Усл. кр.-отт. 20,3. Уч.-изд. л. 8,56. Тираж 80 000 экз. Заказ № 1964. Цена 1 р. 50 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



Белов В.

Б43 Бобришный угор: Рассказы/Гравюры В. Лукашова.— М.: Дет. лит., 1988.— 222 с.: ил.

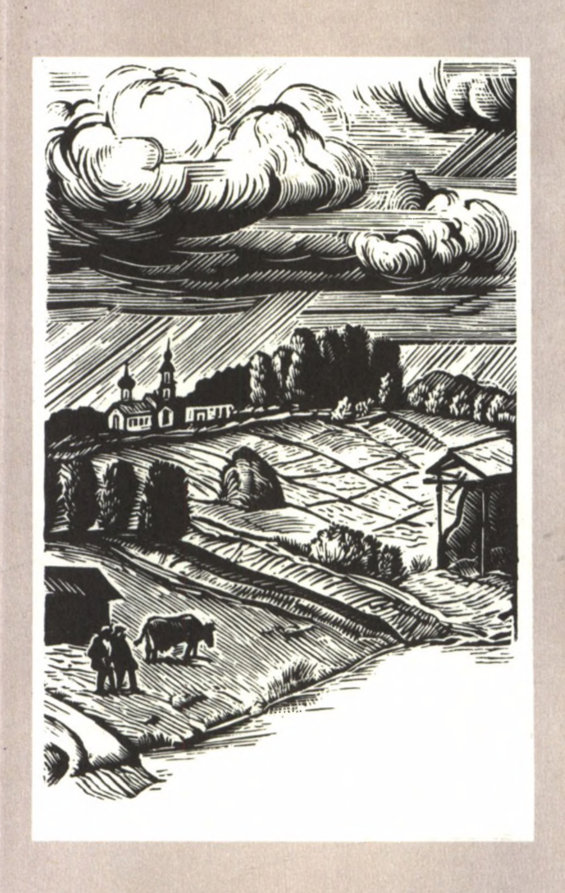
ISBN 5—08—001058—4

В книгу советского прозаика, лауреата Государственной премии СССР вошли такие широко известные произведения, как «Плотницкие рассказы», «Бобришный угор» «На Росстанном холме» и другие.

Б $\frac{4803010102-395}{М101(03)\text{-}88}$ 160—88

ББК 84. 3Р7





1 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

